ВАСИЛИЙ АНТОНОВ



последний допрос



ВАСИЛИЙ АНТОНОВ

Последний допрос

ИЗДАТЕЛЬСТВО
„ЖАЗУШЫ“
АЛМА-АТА — 1968

Писатель Василий Антонов знаком широкому кругу читателей по книгам «Если останетесь живы», «Знакомая женщина», «Оглянись, если заблудился». В новом сборнике повестей и рассказов —«Последний допрос»— писатель верен своей основной теме. Война навсегда осталась главным событием жизни людей этого возраста. В книгах Василия Антонова переплетаются события военных лет и нашего времени. В повести «Последний допрос» и рассказе «Пески, пески...» писатель воскрешает страницы уже далекой от нас гражданской войны. Он умеет нарисовать живые картины. Его герои — люди с неистребимой любовью к жизни. В душе каждого из них живет память о детстве, они способны видеть мир чистыми глазами.

Р2
А 72
7-3-2

Последний допрос

ПРОЛОГ

Выбитые с берега на узкую, длинную косу, они попробовали было уйти морем, но наша авиация, потопив несколько перегруженных кораблей и барж, снова вернула их на тесную полоску земли. И третьего мая остатки второй полевой гитлеровской армии выбросили белый флаг.

Офицер штаба дивизии майор Синицын хотел побывать на самом конце косы, поглядеть на долгожданные балтийские волны, но пленные шли непроходимо густым потоком, и чувство победителя заставляло его стоять и неотрывно смотреть на похоронно унылое шествие побежденных.

Невольно майор вспомнил картинку далекого детства: ему было пять лет, когда через село, в котором он жил, бурой шевелящейся полосой ползли какие-то мохнатые гусеницы. Старики говорили, что «тварь эта от смерти уходит...»

Шли и шли пленные, бросая на ходу в кучи оружие, каски, противогазы. Только лязг металла да стадный топот были единственными звуками еще неоконченной войны на чужой земле.

— Товарищ майор, я тут блиндажик нашел,— доложил адъютант Синицына, младший лейтенант.— Может, отдохнете часика два? Этому шествию конца не видно.

— Да-да, Петя, ты прав. Отдохнуть, пожалуй, можно.— Синицын тряхнул головой, сбрасывая тяжесть дремоты, и выбрался из тесного «виллиса» прямо в сосновый лес. Вернее, бывший лес — теперь он напоминал бурелом.

Двое связных с автоматами последовали было за майором, но Синицын махнул рукой: остановитесь. И автоматчики вернулись в машину. Шофер не поднял головы от баранки, он спал, припав к ней, как к подушке.

Блиндаж оказался тесен, но уютен, и сделали его, вероятно, совсем недавно: вчера или позавчера. В нем пахло

свежими сосновыми досками и сырой землей. Под бревенчатым потолком одиноко тлела лампочка. Наверное, аккумуляторы, от которых она питалась, уже выдыхались.

Майор положил полевую сумку на небольшой столик, в нерешительности остановился перед складной кроватью, на которой беспорядочно лежали несколько одеял и генеральская шинель. Адъютант понял майора, сбросил прочь чужую постель.

— Неужели и генералы у них завшивели?— усмехнулся младший лейтенант.

— Все может быть,— ответил майор и блаженно растянулся на голой кровати.— Ты меня буди, если что...

Майор уснул сразу и крепко, но спал, как ему показалось, всего несколько минут. Его разбудил адъютант.

— Что?— Синицын встряхнулся и встал.

— Русский один в немецком мундире добивается вас,— виновато ответил младший лейтенант.— Пристал, как репей. Не могу, говорит, идти дальше, пока не поговорю с вашим старшим офицером. Мы и так и этак, а он стоит на своем. Может, что-нибудь важное хочет сказать?

Лампочка уже не светила, и блиндаж стал напоминать тесную яму. Майор вышел, закрыл глаза и потянулся, опьяненный светом и тишиной.

— Почему вы сняли погоны?— спросил майор по-русски, когда пленный почтительно вытянулся перед ним.

— Я долго ждал того часа, той минуты, когда мог бы сделать это. И вот дождался,— ответил пленный старчески сухим, но по-военному ровным и твердым голосом. Вынул из кармана кителя узкие, серебром окантованные погоны капитана и бросил их к ногам майора.— Я был переводчиком при штабе дивизии. И только.

Стараясь не выдавать своего пристального внимания, Синицын оглядывал пленного с нарастающей убежденностью, что уже видел его когда-то. Знакомая приземистая фигура, сухое строгое лицо — его высушили годы; облысела голова, а когда-то она гордо носила казачий чуб. Неужели это он, атаман?..

— Так о чем же вы хотели говорить со мной, господин бывший атаман Семняр-Горев?

Пленный насторожился, словно собака, услышавшая голос давным-давно потерянного хозяина.

— Вы знаете меня?— спросил он, и голос его дрогнул.

— Да, знал. Садитесь!— майор кивнул на пень рядом с пленным.

— Благодарю,— пленный сел, снял фуражку, долго смотрел на распластавшего крылья фашистского орла на высокой тулье и наконец отшвырнул фуражку в сторону.

Присел и майор, тоже на пень, напротив пленного.

— А с той бандой,— Синицын кивнул в сторону пленных, которым все еще не виделось конца,— вы тоже хотели спасти Россию?

— Нет!— пленный отчаянно встряхнул головой.— Нет, господин майор! С ними я хотел попасть на родину. Вы не представляете, как можно тосковать по родине, тосковать до боли, до сумасшествия... Бог мой, если бы я знал тогда, что есть такая ужасная тоска!— пленный уронил лицо в ладони и затих, словно прислушиваясь к своим мыслям.— Если бы я только знал!..

— Это все, что вы мне хотели сказать?— спросил майор.

Этот когда-то страшный человек становился ему с каждой минутой неприятнее. Потому что он, майор, вспомнил свою жизнь, полную тревог и мучительных раздумий; он, когда-то потянувшийся за атаманом воевать против красных, никак не мог простить себе одного преступления. Та ночь, тот час грызли и грызут его совесть до сих пор. А разве он был виноват?..

Пленный поднял голову, пристально глядя на майора, спросил:

— Меня расстреляют?

Майор, не задумываясь, ответил:

— Обязательно. Может быть, даже повесят. Вы ведь знаете, что сто́ите этого.

— Да, знаю,— спокойно согласился пленный.— Хочется только одного: умереть в России. Это, думаю, теперь случится?

— Пожалуй, да. Я со своей стороны очень желаю, чтобы судили вас именно там, где вы пролили столько русской крови... Удивляюсь одному: почему вы не остались на русской земле, когда были там с этими любителями «жизненного пространства»?— майор снова кивнул в сторону серо-зеленой лавины пленных.— Надеялись, что они победят?

— Надежда не оставляет человека до тех пор, пока он не поймет, что ее уже нет.

Майор Синицын поднялся, одернул китель.

— Я знаю о вас слишком много, и разговор с вами совсем не доставляет мне удовольствия. Вы не достойны даже могилы на этой земле, где родились. Потому что возвращаетесь на нее с заднего хода, как вор, когда-то обокрав-

ший и осквернивший ее. Точнее, вы были тогда авантюристом, и людям, которые верили вам, дорого и долго пришлось расплачиваться за вашу подлость.

Пленный стоял, опустив голову. Чуть-чуть подняв ее и вскинув на майора отяжелевшие раздумьем глаза, растерянно, словно спросонья, проговорил:

— Вы правы... Меня судить надо... Будут судить... Страшен только допрос... Прошлое слишком тяжело, чтобы вслух вспоминать о нем... Я пойду на свое место...

— Идите. Не забудьте погоны. На «вашем месте» они нужны: короче будет допрос.

— Да, конечно,— пленный поднял погоны и, зажав их в руке и еле поднимая ноги, направился в поток серо-зеленых мундиров.

Едва он скрылся в нем, как пленные странно замешкались, загалдели и вышвырнули труп бывшего атамана Семияр-Горева.

Майор подошел к тому, кто пять минут назад пытался каяться перед ним — уголок воротника кителя бывшего капитана немецких войск был мокр от слюны, и на нем виднелись отпечатки зубов.

— Отравился,— удивленно проговорил младший лейтенант. Во время разговора майора с пленным он стоял в стороне и следил за тем, чтобы пленный «не выкинул какую-нибудь шутку»— он забыл его обыскать.— Вы допрашивали его, товарищ майор?

— Нет, Петя. Он сам себя допросил. Последний раз.

— А ведь для этого тоже смелость нужна,— задумчиво произнес младший лейтенант, глядя на труп.

— Да, нужна. И лучше самому вовремя допросить себя, чем ждать, когда это сделают другие.

— А кто он?

Младший лейтенант всего месяц назад попал на войну. Он еще со страхом поглядывал на трупы, многому удивлялся и многого не понимал; писал восторженные письма домой и мечтал во что бы то ни стало совершить подвиг и получить ранение. Небольшое, конечно. Майор Синицын, к которому его прикомандировали после окончания училища, был для него кумиром. У майора на груди красовались три ордена. И он трижды был ранен.

— Историю надо знать, юноша. Хотя бы для того, чтобы не удивляться иным ее закономерным несуразностям,— майор отечески похлопал младшего лейтенанта по плечу и,

довольный тем, что окончательно озадачил его, направился к машине.

Поток пленных стал редеть, и майор приказал шоферу ехать вперед. Надо было наводить порядок на косе, прибрать хозяйство капитулировавших. Беспрерывно сигналя, оттесняя пленных к обочине просеки, машина тронулась.

Младший лейтенант, уже забыв о разговоре с майором, глядел на машины победителем и мысленно писал домой о том, что видел в этот необычный для него день — в одно обычное мгновение вечной истории.

Прикрыв глаза, майор думал. Думал о том, что было когда-то и чего он никогда не забудет.

Глава первая

1

Природа не знала горя: вокруг все искрилось солнцем, звенело птичьим щебетом и пьянилось запахами цветущих трав. Густо жужжали пчелы, суетливо метались белки в задремавших ветвях сосен, и муравьи рыжим ручейком текли и текли куда-то, наверно, к жилью своему — муравейнику.

Из чащобы выскочил заяц, фыркнул, передернул ушами, встряхнул головой, словно собираясь чихнуть, и потрусил обратно. Неугомонная сорока зло застрекотала ему вслед.

Где-то рядом скучно закуковала кукушка.

Старик оторвался от библии и стал считать. Насчитал пятнадцать лет и открыл в усмешке беззубый рот: ему, Степану Даниловичу, пошел уже девяносто первый, а эта глупая птица пообещала еще пятнадцать. Тут и хочешь, да не проживешь столько. Старик снова приник к библии, такой же ветхой, как и он сам. Но не читалось уже. Вздохнул старый крестьянин Степан Дронов и задумался. Здесь, в лесу, тишина и сама божья благодать: пчелы мед собирают ему, а из станицы ребятишки и бабы приносят хлеб; из одежонки старцу ничего не надобно: есть старый зипун, холщовые порты да рубаха — и хватит. А вот, поди ж ты, нет покоя.

Воюют люди, который год воюют. Божьего помазанника государя-императора прогнали. Сами за власть взялись, да из-за этой власти и схлестнулись между собой. Белые, красные... Взъярился народ, аки зверь лютый. Сын отца не щадит, отец — сына. Неужто конец света близится?

Снова застрекотала сорока. Старик прикрыл библию, прислушался. Из лесу кто-то шел. Неужто медведь?

Поддернул старик порты и боком, косясь на шум, подался в шалаш, и дверь, плетенную из прутьев, прикрыл за собой. Смотрит в щели, молитву шепчет.

На поляну перед шалашом вышел человек; лицо щетиной заросло, весь в лохмотьях, а на ногах — пимы драные (это в июльскую жару-то!). Худ незнакомец был неимоверно, глаза завалились. Посмотрел на шалаш, шагнул к пню, на котором в тихие часы предавался святым мыслям старый пасечник, и уселся на него.

Старик кашлянул. Пришелец встрепенулся, повернул голову к шалашу. Старик приоткрыл дверь, вышел, прижимая к немощной груди тяжелую библию.

— Здорово живешь, дед!— боязливо проговорил гость.

— Добро пожаловать, сынок. Это откуда же ты такой?

— Из того самого ада, про который в твоей книжке пишется. Еще страшнее. Накормил бы ты меня, трое ден не ел.

Смекнул старик: не бродяга и не беглый вор этот заморенный оборванец и повел библией в сторону шалаша:

— Тогда проходи в хоромы мои, там заодно и отдохнешь... Вижу, устал ты, парень, как Христос по пустыне идучи.

Пришелец поднялся и, сморщившись и застонав, коекак двинул ногами и почти упал в шалаш.

— Дай ножик, дед!— выдохнул он сквозь стиснутые зубы.— Мочи нет, ноги извели...— и вытянулся на пахучем сене, обессиленный болью.

Старик выдернул из хворостяной крыши нож — обрубок косы, кожей обшитый с одного конца,— подал гостю. Тот, постанывая, торопливо стал разрезать набитые пылью валенки. Разрезал, стащил, и старик перекрестился раз-другой: у гостя ноги были сплошь в гнойных струпьях.

— Господь с тобой, милок, что это у тебя?

— Цынга, дедусь. Да не крестись ты зря!—уж без боли на лице и в голосе молвил гость. Вытянул ноги и блаженно вздохнул, словно сбросив с плеч ношу.— Теперь бы и поесть...

Старик дал гостю краюху черствого хлеба, поставил два берестяных туеска, один — с медом, другой — с ключевой водой. Предупредил:

— Ты сразу-то не наедайся, а то помрешь еще...

Гость ел жадно, то и дело припадал к воде и шумно глотал.

Старик пасечник сидел рядом, умиленно гладил на костлявых коленях библию и, тайно взглядывая на нежданного едока, думал: кто он и откуда? Зачем смотрит не на еду, а за дверь и сторожит слухом тишину, как заяц?.. Пакостные мухи почуяли гниль на ногах гостя, накинулись, но он велел не закрывать дверь — духота...

И вдруг старца осенила догадка: не из тех ли?.. Недавно приходила Кирюхина Лушка, приносила молока кислого да хлеба, а взяла медку. Говорила, будто в уездной тюрьме красные арестанты взбунтовались, перебили охранников и взяли оружие. Застрелили коменданта уезда полковника Познанского и еще многих. Но убежать не смогли — всех их порешили тамошние казаки. Всех ли?..

Поел гость, допил воду из туеска, поблагодарил хозяина. Пятерней расчесал бороду, пригладил усы. Спросил:

— А чего-нибудь из обувки нет у тебя?

— Как же, есть. Новые лапти да онучи свежие.

— Может, дашь?.. Идти-то мне далеко.

— Поживи денька два, отдохни. Куда ты пойдешь с такими ногами? Лечить их надо.

Незнакомец долго думал, глядя то на свои ноги, то на дверь, за которой парился благодатный июльский полдень. И все прислушивался. Потом добро усмехнулся, сказал:

— Наверно, отец, голову ломаешь, откуда я и кто? Из тюрьмы убег я. Восстали мы, оружие добыли, да не сумели довести дело до конца. Не справились с гарнизонной командой и патронами не запаслись. А казаки насели на нас со всех сторон... Много нас ушло из тюрьмы, около двухсот, да немногие остались живыми... Я четвертый день иду. В станицах казаки, и окрест они, как голодные волки, рыскают. Без дороги пришлось идти, куда глаза глядят. На тебя набрел вот... Сам я из Чернояровки, Артамон Синицын, может, слыхал?

Старик подумал.

— Не слыхал, далеко ваше село от нас. Так ты, стало быть, куманист?

— Нет, отец, пока не коммунист.

— За что же тебя в тюрьме держали?

— В тюрьму теперь попасть легче, чем в церковь. Мобилизацию Колчак объявил, а сынишка мой, Авдюшка, попал под нее, а ему только восемнадцать минуло. Какой из него солдат? Кутенок! Я офицеру и говорю: «Меня берите,

я двух георгиев имею за войну с германцем. В колчаковском войске пригожусь». Офицер в крик: «Молчать, такой-сякой!»— и нагайкой меня. Я не стерпел и в ухо его двинул. Офицер за наган, да не стрельнул: мужики наши не дали. Ну, с меня все-таки порты содрали и нагайками выпороли. При народе, а потом заарестовали. Для острастки, значит. Два месяца живьем гнил в тюрьме... Авдюшку все равно забрали. Где он теперь?.. Вот жизня!.. Когда спокойствие народу будет?.. Разоренье кругом. Всякая гнида во вши лезет, а мужик — все терпи. Эх-х!..— Артамон замотал головой и так стиснул кулаки, что кожа на них побелела.

Старик раскрыл библию, долго гнулся над ней, водя худым и тонким, как ножка паука, пальцем по замусоленной странице. Нашел нужное место и поднял вверх палец, прося внимания. Прочитал, понукаемый косым взглядом собеседника:

—...«И выходил Давид с людьми своими, и нападал на гессурян, и гирзеян, и амаликитян, которые издавна населяли эту страну до Сура и даже до земли Египетской.

И опустошал Давид ту страну, и не оставлял в живых ни мужчины, ни женщины, и забирал овец и волов, и ослов, и верблюдов, и одежду...» Вот, паря, и в писании речется о черных днях наших.

Собеседник, дернув заросшей щекой, усмехнулся:

— А этот Давид-душегуб кто будет по писанию?

Старик, думая, прикрыл бескровными, как у птицы, веками глаза.

— Божий помощник, выходит...

— Значит, вроде атамана Семияр-Горева?

Не ответил старик, закрыл библию. Взял тряпицу и замахал ею, выгоняя мух.

— Ничего, всякая вошь донимает мужика до времени. А когда терпению его конец приходит, он эту мелочь под железный ноготь бросает... Я набрался маленько ума в окопах на германском да в атаманской тюрьме здорово поумнел... Много башковитых людей повстречал. Которых и в живых уже нет... Теперь Артамона Синицына, как ребенка малого, пороть не придется. Не-ет!— гость разразился такой бранью, что старый пасечник замахал руками, закрестился.

— Окстись, непутевый! Бога-то зачем лаешь?

— Какой он бог, если верных слуг своих — людей — посылал убивать? Дубьем бы такого бога, как Колчака. Это-

го стали бить — и вся его свора взъярилась, конец почуяла... Атаман Семняр-Горев божьего Давида переплюнет... Но ничего, ничего, и ему место найдем, под ноготь скоро бросим... Давай, отец, онучи твои.

Старик разложил перед гостем выстиранные онучи и новые, поблескивающие лыком лапти. Принес из лесу воду и целую охапку росно напитанных соком листьев подорожника. Омыли и запеленали ноги, положив на болячки чистые листья. Ожил гость, встал и прошелся круг шалаша. Долго смотрел на себя в лужице под старой сосной, потом из нее умылся.

— А ты, дед, не из казаков случаем?

— Нет, мужик. Из России, переселенец... Сын один был, да и тот в японскую на полях маньчжурских голову сложил... Старуху схоронил... Пасеку вот держу... Пчелы, слава богу, кормят... С землей-то не справлюсь. Да и какая земля? Горе одно...

Отдавая полотенце — кусок холста,— Артамон снова ожесточился:

— Добрые земли давно под богатыми казаками, а нам, мужикам, песок да суглинок... Из-за земли казара и прет со всякой сволочью... Жадюги, аспиды!..

— Богатство-то, оно портит человека. Вот и в святом писании...

— А забрось ты, дед, свое писание!— дернул плечом гость.— В писании сказано не убивать и возлюбить ближнего своего. Я на фронте трех немецких мужиков штыком запорол, а за что? Поп же наш ладаном обкадил меня за это... Не убивать!.. Я, когда сидел, из окна тюрьмы видел, как атаманские ироды прямо во дворе людей расстреливали, без суда всякого... Я у богатого казака Матвея Фомина землю под арбузы арендовал, так он половину с нее себе выговорил... Возлюбил, значит, меня! Святое писание!.. На могилках надо читать это писание, мертвякам. Тем все равно — брехня али правда... А наш бог — вот!— гость рванул к плечу исшматованный рукав рубашки и показал небу руку с большущим сухим кулаком.

До ночи попросился гость отдохнуть, на большее отказался: путь далек, да и бока пролеживать — не время. Но в шалаше прилечь отказался — береженого и бог бережет. Старик спрятал гостя в копешку свежего сена на полянке среди пасеки — не всяк сюда сунется, пчел побоится,— а сам долго гнулся в поклонах, просил господа бога вразумить стадо свое...

2

Старик расстелил в шалаше зипунишко, прилег отдохнуть. Но не тут-то было. В той стороне, где по лесу змеилась дорога, загорланили песню. Молодой, по-петушиному бойкий голос во всю силу орал:

Хас-Булат удалой,
Бедна сакля твоя,
Золотою казной
Я осыплю тебя...

«Кого это бог несет?— подумал старик и сел, обняв колени.— Один от смерти хоронится, другой песню вовсю выводит. Эх-хе-хе! Времечко...»

Зазвенели удила, всхрапнул, запнувшись, конь, и к шалашу выехали два казака с винтовками через седла. Подъехали, уставились на старика, как на небылицу. Один — немолод, грузный, тяжелый,— конь под ним вздыхал и перебирал ногами,— зевнул, почесал спрятанную в цыганской бороде шею, лениво спросил:

— Кто будешь?

Старик склонил голову набок, скромно ответил:

— Божий человек, господин вахмистр.

Другой, молодой, по виду — беспечный, смеялся синевой больших глаз, похлестывал себя плетью по голенищу сапога и молчал.

— А что делаешь тут?— допытывался вахмистр.

— Пасека у меня, за пчелами присматриваю.

— Гм,— хмыкнул вахмистр и сразу повеселел.— Медовуха есть?

Молодой вскинул голову, прыснул, сверкнув снежно-белыми зубами.

— Не порчу нектар благовонный на бесово зелье.

— Зелье, зелье!— окрысился вахмистр и сполз с седла. Одернул рубашку, подтянул штаны с красными лампасами.— Никто у тебя не гостевал?— и скосил недобрый глаз на разрезанные валенки.

— Нет,— ответил старик и подумал: «Вот уж истинно: «...и придет конь бледный, и на нем всадник, и имя ему смерть! И ад следует за ним...»

— Авдюшка, ослабь у коней подпруги да пастись пусти!— крикнул вахмистр молодому казаку и пнул пимы. Из них всклубилась пыль. Вахмистр сморщился, почистил сапог об траву.— А это чье дерьмо?

— Мое, стельки из них буду резать,— старик поднял валенки, пристроил их на шалаше,— пусть сушатся.— А про каких гостей пытаете, господин вахмистр?— спросил невинно, стоя спиной к казакам.

— Про политических, из тюрьмы убегли... Всех их, сволочей, перебили... Но пятерых сыскать не можем, как сквозь землю провалились... Вот розыск производим. Найдем — и этих прикончим. Чтобы знали, стервы, силу казацкую и как на атамана нашего руку подымать!— вахмистр замолчал и вдруг завопил:— Авдюшка, сукин сын, куда коней пустил; ведь там пчелы!.. И не стреножил!.. Имай, иначе искровеню!..

Старик насторожился: а уж Авдюшка этот — не сынок ли тому, кто таился сейчас в копне? И посмотрел вслед молодому казаку, который во весь дух мчался к лошадям. Они, еще не чуя беды, блаженно мотали головами и брели к ульям, разбросанным в густой траве посреди большой, сразу не обозреть, поляны. Винтовка мешала Авдюшке бежать, он сперва сдернул ее с плеча, а потом и вовсе бросил.

Вахмистр выругался и скоро пошагал за ружьем, от которого так просто избавился его глупый сослуживец. Но не дошел: кони с визгом взметнулись на дыбы и ошалело понеслись обратно. Пчелы с сатанинским гудом гнали их. Развел руки молодой казак — и в сторону отпрянул. И вовремя: лошади, выкатив огнем полыхающие глаза, дьяволами пронеслись мимо. У обеих седла помехой болтались под брюхом. Вахмистр ринулся было прочь, но споткнулся и упал.

Зашумели ветки, тревожно закричали вспугнутые птицы — кони мчались по лесу, обезумев от пчелиных укусов.

Старый пасечник стоял у своего скромного жилища прямо и неподвижно. Пчелы миновали его, как знакомого, и поедом ели Авдюшку. Обняв голову и лицо, он подскакал к старику, истошно завопил:

— Помоги, дед, заедают!..

Старик не пошевелился, только судным голосом сказал:

— Слугам иродовым не помогаю!.. Так-тось!..

Как очумелый, завизжал казачишка и рванулся в лес вслед за конями.

Пчелы не минули и вахмистра. Он резко вскочил, взревел по-бугаиному и, помешкав чуть-чуть, затопал к копешке. Старик не успел даже испугаться и сотворить крестного знамения, как она вспыхнула, будто хорошо просушенная кудель.

— Свят-свят!— тихо вырвалось из немеющих уст старика — и он упал как подкошенный.

Не видал уже старый крестьянин Степан Данилович Дронов, как из копны взметнулся его недавний гость, вырвал у вахмистра из ножен шашку и взмахнул ею. Зарубленного врага он втолкнул в бойко полыхавший костер,— не видел этого старик, преставился.

Артамон подобрал вахмистрову винтовку, клацнул затвором, вгоняя в нее патрон, и подошел к шалашу. Долго стоял над мертвым, опустив голову, потом завернул холодеющее тело в зипун — и при смерти он пригодился мужику — и на руках, как младенца, понес на пасеку. Пчелы сердито гудели над ним, но не трогали.

Вахмистровой же шашкой Артамон выкопал могилу в буйной поросли ромашек на краю поляны. Присев на теплую, пахнущую недосягаемо далеким домом землю, стал ждать...

Зло угомонилось в Артамоне, как только он увидел сына: с опухшим донельзя лицом (глаз не видно), в подраном мундире, на котором красные погоны болтались, как на смех прилепленные тряпки, он будто в барабане молотилки побывал.

— Господин вахмистр!— плаксиво просипел Авдюшка, держа в поводу коней,— испуганно всхрапывая, они пятились в лес.— Господин вахмистр!..

Артамон встал, крикнул:

— Я заместо твоего вахмистра!

Авдюшка вытаращил глаза, раскрыл рот и попятился за конями в чащу.

— Отпусти коней и пойди сюда!— Артамон сел на пень, на котором свел знакомство с добрым стариком, положил на колени винтовку. Когда сын, весь жалко поникший, подошел, спросил:— Значит, отец принял срам за тебя, теперь вот бродит, как богом проклятый, а ты его палачам служишь? Говори, сукин сын!

— Заставили,— понуро, но не покаянно буркнул Авдюшка, выдирая из соломенно-желтых кудрей чуба репьи.— Я ведь не сам...

— Так, уразумел,— молвил Артамон. Сорвался с пня и рявкнул:— Скидай штаны, ирод!

Авдюшка встрепенулся, удивленно уставился на отца.

— Скидай, говорю!.. В жизни не порол тебя, а теперь выпорю... Спросил бы хоть, откуда я... Жабенок!..

Авдюшка покосился на черный глазок винтовочного ствола, расстегнул штаны и опустил их. Они упали вместе с новыми подштанниками. «Исподникч, подлец, носить начал».

— Ложись!

Артамон порол сына пахучими березовыми розгами. Тот выл по-щенячьи, но пощады не просил.

— Вставай, вражина, и рассказывай, как дома. И стой передо мной, как перед своим покойным вахмистром!..— Артамон бросил прутья, устало опустился на пень.

Авдюшка, словно остолбенев, не мигая, смотрел на отца.

— Засек я его и в копне сжег. Я прятался там, так он подпалил ее, в дыму хотел спастись от пчел... Говори, что приказал!

Авдюшка рассказал: мать с сестренками ничего живут, днями он целый мешок крупчатки свез им, матери плат славный подарил, а сестрам — цветастого кашемиру. Про него, отца, спрашивали. Ответил: не знаю и не слыхал. В казаки Авдюшку взяли за голос: самому атаману по душе пришелся он, и поет теперь Авдей Синицын в атаманском хоре. Живется ему вольно — никаких забот.

Слушал Артамон сына и думал: трудновато теперь оторвать его от атаманской шайки. Да и оторвешь ли?.. Пусть сам ищет правду, это вернее...

Оба вздрогнули, когда рядом гулко захлопали частые взрывы и на месте копешки высоко поднялись клубы черной золы.

Артамон пояснил:

— Патроны накалились на прахе твоего вахмистра, рвутся,— и встал.— Чую, сын, дороги наши расходятся. Со мной ты не пойдешь, а куда я пойду — не скажу. Потому — не верю тебе. Полегче этой штуковины у тебя нет ничего?— Артамон подбросил и поймал винтовку.— Уж больно несподручно с ней по дороге.

Авдюшка понял отца, пошел в чащу, где бренчали удилами кони. Вернулся с тяжелым кольтом.

— Вот, возьми.

— Спасибо, сынок, уважил,— усмехнулся Артамон, сунул кольт за пояс. Опустив голову, сказал:— Прощай, если еще раз столкнемся на одной дороге разными — пеняй на себя. Домашним поклон передай.

Артамон бросил винтовку сыну, в шалаше сунул в туесок с медом недоеденную краюху и взял его под мышку. Над библией подумал, потом отнес ее на одинокую могилу.

Перекрестившись, не взглянув больше на сына, исчез в лесу.

— Богатые казацкие станицы обходи и села кержацкие!— прокричал в напутствие Авдюшка, сел на пень, еще хранящий тепло отцовского тела, и уронил голову на колени.

Глава вторая

1

Начинался ледостав, когда буксир привел сверху баржу. По городу пополз слух: привезли на суд самых главных красных комиссаров.

В полдень караульный взвод подняли по тревоге и повели к пристани. Расставили караулы. Авдюшка оказался на палубе возле трюма. Томясь от скуки, прислушивался к шуму в нем. Но кроме песен, тихих и долгих, как воспоминания, ничего не слышал. Удивлялся: поют, а ведь смерть рядом. Приговор для них у атамана один: конец.

Атаман со своей свитой в окружении личной охраны — бородатые казаки в черных мундирах — прибыл скоро. Легко соскочил с каракового жеребца и, придерживая серебром отделанную шашку, взошел на палубу. Первый раз Авдюшка видел атамана совсем близко: роста атаман был неказистого, но широк в плечах; лицо сухое и бледное; крепко сжатые, почти невидимые губы; из-под черной папахи на непримечательный лоб падал белесый казачий чуб. Личная охрана держала атамана в кольце, будто невольника.

За атаманом лениво поднялись на палубу начальник контрразведки полковник Дубасов с изуродованной пулей красных нижней челюстью (хилая бородка полковника, казалось, росла прямо из его рта и была всегда мокра), и начальник штаба полковник Ярич, бородатый и толстый, похожий на купца в военном мундире.

— Перетопить их всех — и крышка!— сказал Дубасов, шумно дыша и прикрывая душистым платком безобразную челюсть.

— Наш божий помазанник любит почудить,— вздохнул в ответ начальник штаба и неохотно, будто в затхлый погреб, стал спускаться в трюм вслед за атаманом.

К Авдюшке подошел моложавый сотник, обжег взглядом покрасневших от пьянства глаз, дернул черным усом и хмыкнул:

— Стоишь?

— Так точно, ваше благородие, стою!

— Ну, и стой, болван!— сотник отошел к борту и стал смотреть в шумящий ледяной кашей Иртыш.

Опасливо косясь на сотника, Авдюшка шагнул ближе к трюму, прирос к нему слухом. Услышал совсем непочтительные слова:

— Господин атаман, почему нам не дают есть? И держат в этом грязном помещении.

И голос атамана:

— Извините, господа комиссары, обед вам забыли приготовить, а мест в первом классе нет!

Еще сказал что-то комиссарский голос, и послышался удар, будто тяжелой веревкой стегнули по туго набитому мешку. И другой удар, и третий...

— Сволочь!.. Ирод!.. Перед концом лютуешь, палач!— и комиссар звучно плюнул.

Ненадолго стало тихо — и грохнул выстрел. Сотник — он стоял рядом с Авдюшкой — кубарем скатился в трюм. Четыре атаманских казака, клацнув затворами винтовок, бросились вслед, будто псы, почуявшие опасность для хозяина.

Атаман выскочил из трюма красный. Отирая лицо перчаткой из верблюжьей шерсти, стал ко всем спиной. А из трюма грозово понеслось:

Вставай, проклятьем заклейменный,
Весь мир голодных и рабов!..

Словно выплеснутая этой песней, из трюма появилась вся свита. Полковник Дубасов, сверкая выкаченными глазами, грубо выругался, сказал, захлебываясь слюной:

— Борис Михайлович, отправить их сегодня же к «генералу Духонину»!..

Резко, стукнув концом шашки о борт, атаман повернулся.

— Нет! Сперва я их заставлю послушать музыку!— и черноусому сотнику:— Сотник! Прислать сюда мой оркестр, и пусть он до ночи играет этим красным сволочам похоронный марш!..— и заскрипел сапогами по сходням.

Свита поспешила за ним. Полковник Ярич обернулся, погрозил омертвело стоящему Авдюшке толстым коротким пальцем, сказал:

— Смотри в оба! Понял?

Из трюма, ругаясь, два казака неловко вынесли тело, большое и худое, едва прикрытое одеждой. Лица у покойника не было, вместо него — большим комом запекшаяся кровь. Но и в неподвижности своей мертвый был так страшен, что Авдюшка испуганно попятился, споткнулся о канат и упал. Винтовка поленом загремела по палубе.

— Эх ты, воин, мертвого испугался!— заметил один казак, сталкивая ноги покойного за борт.

Другой ухмыльнулся:

— Ничего, наш живодер ко всему приучит!— и подтолкнул покойника в спину.

За кормой послышался всплеск, будто большая рыба бултыхнулась, и явственнее, громче из трюма понеслось:

Никто не даст нам избавленья —
Ни бог, ни царь и ни герой!..

Казаки вытерли руки о полы черных полушубков, присели на бревно и задымили цыгарками, поставив винтовки между ног. Будто лихорадка, Авдюшку тряс испуг: теперь его пугала песня. Казалось, от нее вот-вот развалится баржа — и перед ним грозными, неумолимыми судьями явятся те, кто бесстрашно пел песню.

Казаки, опустив головы, говорили:

— Поют...

— Отступаем, а куда?

— А в преисподнюю. Больше некуда...

— Дома́ побросали, а за какое счастье?

— За атаманское. Ему, кроме как кровь лить, больше делать нечего. Охмурил он нас.

— Не хотели бы, не охмурил. Они вот, небось, знают свою дорогу,— казак топнул по палубе.— Вся Россия идет за ними. А мы, как волки обложенные, мечемся.

— В Китай катимся.

— А кому мы там нужны?

Слушал Авдюшка пожилых казаков — и оторопь брала его: значит, атаману веры нет? Зачем же столько народу взбаламутил он и льет кровь, как воду? Он, сын крестьянина, Авдюшка Синицын, поверил, что атаман победит — и настанет добрая жизнь: не будут распоряжаться красные комиссары, каждый станет жить сам по себе.

Когда был Авдюшка в атаманском хоре, ему и впрямь жилось неплохо: всякого добра перепадало из доверху нагруженных атаманских обозов. Но когда побежали от кра-

сных, атаман забыл про свой хор, и певцов влили в караульный взвод при его ставке. И то хорошо — до ставки не долетали пули красных.

Слыхал Авдюшка: побежал Колчак и добрался только до Иркутска, там его, всеми брошенного, арестовали большевики и прикончили. Отвалились от адмирала его генералы и атаманы, подались кто куда, лютуя и грабя по дорогам. Теперь, значит, и ихний атаман Борис Михайлович Семияр-Горев по такой же бандитской дорожке покатился. Конечно, он и за границей найдет себе место, а на кой ляд нужна эта заграница ему, Авдюшке? Чего он там не видал?.. Каким он дураком был, когда не ушел с отцом!.. Мундир казацкий нравился и жизнь разудалая: пей, гуляй!

Отец, конечно, к красным подался. Он такой: если зарубит одно, так и тянет до конца. Белых он возненавидел, и в могиле не помирится с ними. Значит, не помирится и с ним, с сыном своим?..

Эта мысль, раньше почти не тревожившая Авдюшку, теперь, будто буравом, сверлила ему голову: неужели они с тятькой враги до смерти? Он, Авдюшка, думал: кончится вся эта кутерьма, вернутся они домой — и заживут вместе по-прежнему. Только лучше бы — как обещал атаман. Тятька, конечно бы, сказал: «Прости, сынок, погорячился я тогда на пасеке. Думал, лиходеем будешь, а ты вон какой. И с хорошими людьми шел и правильную власть завоевал. Спасибо тебе!» А дело вон как обернулось!

Если придется ему, Авдюшке, по-настоящему воевать с красными, не пальнет ли он в своего отца Артамона Синицына? Да и не здесь ли он, в этой вонючей тесной барже?.. О, господи, как все перепуталось!..

Авдюшка прислонился к борту и закрыл глаза. Неотступно долбила мозг одна мысль: «Отца своего стережешь. Да и не его ли бросили в Иртыш?..» Авдюшка поглядел вниз: текла великая река, как ни в чем не бывало, шумела шугой, которая становилась все гуще и гуще...

Убежать, но куда и к кому? К красным? Они, говорят, не милуют тех, кто воевал против них. И потекли по щекам Авдюшки горючие слезы, и кричать хотелось: «Тятька, где ты?..»

На палубу, гремя трубами, поднялись атаманские духачи. И с ними — старший урядник, Авдюшкин командир, сын богатого лавочника Пантелей Захаров (казаки его звали между собой Харей). Духачи составили ружья в козлы, стали полукругом, переругиваясь, приготовились играть.

Старший урядник подошел к Авдюшке, сонно потаращился на него утонувшими в жиру лица маленькими глазками, ничего не поняв, сказал:

— Вытри морду!— плюнув за борт, добавил:— С такими гнидами навоюешь!.. Топай отсюда!..

Ох, как хотелось ударить прикладом по этой жирной харе!.. Но попробуй, тронь старшего урядника — расстреляют. Авдюшка бросил винтовку за плечо, побежал по пружинистым сходням прочь с баржи. А на ней тягуче и нудно оркестр заиграл похоронный марш.

2

С баржи комиссаров перегнали в товарный вагон неподалеку от атаманского поезда и заперли там. Уже холода пошли, а комиссары были почти нагие. Вагон не топили, ветер продувал его насквозь, как решето. Кормили тоже без жалости: на тридцать человек совали в вагон ведро холодной воды и две булки ржаного хлеба. Попробовали арестанты петь — охране приказали стрелять по вагону. И песен лишили их. Зато каждый вечер, за полчаса до отбоя, атаманский оркестр наигрывал похоронный марш.

В ту ночь разыгрался буран. Ветер так хлестал снегом в лицо, что его приходилось прятать в поднятый воротник полушубка. Комиссаров выгнали из вагона и повели в непроглядную темень, как в адскую бездну. Передний, в рваном пиджачишке и в помятом картузе без козырька, спросил:

— Куда вы нас ведете?

Черноусый сотник, закутанный башлыком, как баба шалью, насмешливо ответил:

— В баню, господа-товарищи!

Вышли к Иртышу и спустились на лед. Здесь поземка разгуливала вовсю. Комиссары шли смело, даже голов не опускали, словно им все было трын-трава. Забыл про мороз Авдюшка. Будто случайно меняясь местами с другими конвойными, прошел весь строй и заглянул каждому комиссару в лицо. Нет, слава богу, отца не было.

— Где же ваша баня, господин офицер?— уже недоверчиво спросил все тот же арестованный.

— Недалеко!— засмеялся сотник. И закричал:— Сто-ой!.. Конвой — окружить!..

Вооруженные люди плотно охватили арестованных.

«Где же баня?»— подумал Авдюшка, оглядывая белую равнину, взбудораженную поземкой. И взгляд его остановился на большой, неровно вырубленной проруби. Дегтярно черная вода тяжело поднималась и опускалась в ней.

— Братцы, разбегайтесь!— сильно крикнул все тот же передний, кошкой бросился на сотника, цепко обхватил его и вместе с ним упал в прорубь.

— Стреляй!— завизжал старший урядник Харя и выстрелил из нагана.

Арестованные брызнули во все стороны. Обомлевшего Авдюшку сбили с ног. Падая, он толкнул свою винтовку к проруби и съежился, обняв лицо и голову. Как сквозь тяжкую дрему, слышал он выстрелы, стук конских копыт, матерную ругань и свист сабель. Авдюшку больно пнули в спину. Дрожа всем телом, он поднялся, вытянулся. Перед ним стоял Харя.

— Где ружжо?— скалясь, спросил он и ткнул Авдюшку револьвером в лоб.— Ружжо где, говорю!

— Под дыхало меня саданули, а ружье тут было,— придя в себя, ответил Авдюшка.

Нагибаясь, он стал смотреть вокруг.

— Сволота! Пристрелить тебя мало!— завизжал Харя и стал тыкать Авдюшку револьвером в спину.

Конные, пешие стаскивали к проруби трупы. Чуя человеческую кровь, храпели и бесновались кони, визжал и хрустел под копытами лед. С шашкой наголо подскакал полковник Дубасов, слетел с коня, ширнул шашку в ножны, бросил:

— Урядник, где сотник Лютый?

Харя, хлюпко шмыгая носом, что-то пробормотал, а полковник все злее и злее наигрывал плетью. И вдруг начал остервенело сечь ею Харю. Потом накинулся на Авдюшку. Порол долго, норовя все по лицу и по рукам. Но не больно было Авдюшке, будто били не его, а другого — крепила мысль, что он среди этих извергов один не взял греха на душу.

Дубасов бушевал, размахивая нагайкой:

— Стервы!.. Предатели!.. Перевешаю, мать вашу!..— он прыгнул к Авдюшке, схватил его за отвороты полушубка и так встряхнул, что тот, щелкнув зубами, до крови прикусил язык.— Где винтовка, сучий сын? Отвечай, подлюка, иначе утоплю, как щенка! Слышишь?

Авдюшка молчал, глядя в безумные глаза полковника.

Только когда полковник брызгал в лицо слюной, его слегка мутило.

Бородатый казак быстро подошел к полковнику и стал тихо говорить ему что-то.

— Сюда его!— сипло взвизгнул Дубасов.

Подвели не очень видного мужика, белоголового от набившегося в волосы снега, в драной шубейке. Мужик придерживал правой рукой раненое плечо и смотрел вперед, навстречу поземке, будто силясь вспомнить что-то. Вокруг него, как воронье перед поживой, скучились с голодной лютостью слуги «бога и атамана», а он не видел их и все смотрел куда-то.

Полковник взял Авдюшку за воротник полушубка, рывком поставил на край проруби. Выхватил у ближнего казака винтовку, сунул ее Авдюшке в руки. Целясь, уперся дулом нагана в лоб.

— Стреляй комиссара, сучье вымя! Ну?

Все завопило в Авдюшке: «Жить!» Но за свою жизнь нужно было загубить другую и навсегда забыть дорогу в родной дом, к отцу и матери. По спине, щекоча, пробежала холодная струйка пота, и в груди стало пусто. Жить хотелось!

— Ну?— полковник взвел курок.— Большевика жалко? Стреляй!..

— Он, ваше благородие, вахмистра Лукина где-то затерял, когда еще в Сибири были,— прильнув к уху полковника, просипел Харя.

— Говорит, красные подстрелили. Врет!..

— А-а!..— взвыл полковник.

Авдюшка вскинул винтовку к плечу, закрыл глаза и выстрелил. Когда снова открыл их, комиссар лежал на боку, словно утомился и прилег отдохнуть. Темно расплываясь в снегу, из него текла кровь. «Убил»,— подумал Авдюшка и больше уже ни о чем не думал. Доволок по приказанию полковника труп до проруби и столкнул его туда. Обрадовался, что убитый не всплыл, а сразу исчез в черной прорве воды.

— Вот вояка!— гоготали казаки.— В штаны, наверное, наклал, пощупать надо!..

— С такими только против красных воевать!..

Торопливо, словно боясь, что мертвые оживут, всех убитых побросали в прорубь. Полковник вскочил на своего чертом выплясывающего жеребца и с места погнал его

рысью. Все конные, как волчья стая за вожаком, кинулись за ним.

Харя построил взвод, опять было пристал к Авдюшке с руганью и револьвером, но длинноусый немолодой казак Лобов приблизился к Харе и ласково посоветовал:

— Не кипятись, урядник. Прорубь-то еще не застыла. Уразумел? — вынул из-за пазухи фляжку (горло берег — на груди согревал) и одним дыхом опорожнил ее.— А винтовку мы ему найдем.

Взводный ошалело постоял перед подчиненным, ничего не сказал и повел взвод прочь от проруби.

С диким посвистом метался по плененному льдом Иртышу огненно-жгучий ветер, затягивалась льдом черная прорубь.

В отступлении из городка Авдюшке чудилось какое-то недоброе предзнаменование: во дворе штаба горели костры, там жгли какие-то бумаги; черными хлопьями летал пепел во дворе школы — здесь офицеры из контрразведки бросали в огонь свои бумаги. А их было много, целая телега.

Беспричинно орали на рядовых офицеры, и те, рядовые, казалось, равнодушны были к этим строгим голосам — сами спешно собирались в дорогу. Некоторые из них были злы, другие — непонятно веселы. Запряженные брички, телеги, тачанки рвались со двора и с грохотом выкатывались на улицу.

Ржали кони, кричали люди. Шумом городок напоминал времена недавних ярмарок.

Старший урядник Харя, будто оглушенный этим переполохом, сразу как-то сник, не пыжился и не ругался. Построил свой взвод почти молча и повел его через дорогу во двор штаба.

«А красные только раз стрельнули, и то с гор»,— подумал Авдюшка и не удивился этой мысли: сколько раз уж вот так сматывались они и катили в глубь Семиречья. И чем дальше, тем общарпаннее становилось атаманское войско, тем сильнее тянуло Авдюшку назад, в родные края. Зачем ему этот неведомый Китай и вольная жизнь там, как обещает атаман? Броситься бы красным в ноги и запросить прощения, да страшно идти на такое покаяние одному. Тятьку бы встретить... Где он теперь? Не он ли стрелял с гор?..

— Чего, милок, призадумался? — тронув Авдюшку локтем, спросил усатый Лобов.

От него, как всегда, несло сивушным перегаром и едким запахом самосада.

— Думаю вот,— вздохнув, ответил Авдюшка,— сперва на поездах и пароходах отступали, а теперь на телегах...

— Скоро пехом попрем,— угрюмо заметил Лобов.— Не они, конечно,— он кивнул на крыльцо, где стояли атаман и полковник Ярич в окружении штабных офицеров,— а мы, бараны.

Построились полукругом посреди двора, оркестр уныло затрубил гимн «Боже, царя храни». Денщик атамана Мишка приставил лестницу к крыльцу, взобрался по ней и снял с крыши черный стяг с человеческими костями и словами «с нами бог и атаман».

— С божьей помощью охмурили нас!— буркнул Лобов, сплюнул и выругался.

Трещал костер, пожирая бумажную историю атаманской борьбы за «Россию с новым справедливым царем».

— Как лисы, следы заметают. Небось, что ни бумага, то убийство.

— Но вы, дядя, тоже убивали,— вкрадчиво заметил Авдюшка.

— Нет, паря. В германскую убивал, а своих — нет. В белый свет палил. Жалею вот только...

— О чем?

Лобов не ответил, для видимости заинтересовавшись атаманом и его офицерами, которые проходили мимо. Следом денщик Мишка вел в поводу двух оседланных коней. Блеснув белыми зубами, парень бездумно ухмыльнулся:

— Тронулась орда!

И затарахтели брички в степь, застучали по пыльной дороге копыта отдохнувших лошадей. Городок пустел, и прежняя тишина вливалась в него, как покой в измученную душу. Из погребов и потаенных мест выбирались девки и молодые бабы, старики крестились и плевали вслед тяжело оседающим облакам пыли:

— Слава те господи, унесло иродов!

С бурых, опаленных зноем каменистых гор, полукругом охвативших городок, осторожно спускались всадники. Их было двое — разъезд красного партизанского отряда.

3

На Лобова и Авдюшку никто не обращал внимания, и войско, гулко выбивая из степной дороги пыль, стремилось мимо, как одичавший табун.

Прогрохотал мимо на телегах и взвод старшего урядника Хари. Сам Харя бревном трясся в своей бричке, упившись вдрызг. Младший урядник Курицын лихо осадил коня, почесал концом нагайки потный лоб.

— Что, парад принимаете?— молодецки басил он и, вдруг вспетушившись гаркнул:— Марш в строй!

Авдюшка потянул было поводья, но Лобов, вытянувшись и козырнув, ответил:

— Нам приказано, господин младший урядник, в аригарде быть!

— Кто приказал?— уже по-серьезному спросил Курицын.

— Господин подъесаул Краснов.

Младший урядник помолчал, перебирая космы конской гривы.

— А полковник Дубасов, стерва, со своими анафемами вбег!

— Куда?— от удивления Лобов привстал на стременах.

Ожидая ответа, весь вытянулся и Авдюшка.

— Звестно куда — к загранице. Тут, если прямо, всего верст двести,— ткнул плетью в сторону Курицын.— И китаи чесанули за ним. Дезертиры!

— А атаман что ж?— спросил Авдюшка.

— А что?!— остервенился Курицын.— У него своих делов хватает! Али с этими предателями воевать, али за нас думать. А ен за нас кумекает, потому — отец наш... Ну, бывайте!— Курицын огрел лошадь плетью и погнал ее галопом, догоняя брички своего взвода.

— Вот дуралей!— не то восхищенно, не то удивленно произнес Лобов, глядя вслед незадачливому младшему уряднику.— Атаман,— говорит, отец наш. А?

— А зачем нам в этот аригард?— спросил Авдюшка. — Лучше уж со всеми...

— Мо-олчать!— незло процедил сквозь зубы Лобов.— Слухай меня! Я теперь твой урядник и сам господин атаман. Что прикажу, то и делай. Иначе спроважу на тот свет ангелам пятки чесать.

Прогромыхала мимо батарея из двух пушек. На пароконной бричке гуляла прислуга, пушкари горланили похабную песню под хриплый стон гармошки. Прокатили «духачи», тоже под хмельком. Медные трубы их, кучей лежащие в задке брички, блестели на солнце, как начищенные самовары. Только дюжий дядя «бас», сидя на козлах, дул изо

всей мочи в свою страшную трубу, оглашая степь неземным ревом.

Кислый запах какого-то варева или немытых котлов оставили после себя полевые кухии. Потом заскрипели обозы. На миогих подводах веревками было стянуто добро, закутаиное брезентами и пологами.

— Вот к этим мы и пристаием,— облегченно, будто дождавшись чего-то долгождаииого, проговорил Лобов и встряхиул поводьями.

Авдюшка иаправил своего коня за инм.

Далеко отстав от хвоста обоза, отдельио тарахтели две брнчки с несколькими казаками. Из бричек сонио таращилнсь в стороиы толстымн стволами «максимы». А за этнм прикрытием хвоста атамаиского воинства маячнлн вдалеке на дороге иесколько верховых — коииое охраиение. Пристроившись к задией бричке, Лобов отрапортовал жирному рябroom рыболицему вахмистру:

— Господин вахмистр, господии подъесаул приказал иам быть при вас! Так что, разрешите...

Вахмистр по случаю жары был в иательиой рубахе. Гимиастерка его болталась на пулеметиом щите, а сам он сндел иа подушке, свесив толстые иоги сквозь переплеты дробин. Скребя короткнмн красиыми пальцамн пухлую волосатую грудь и глядя куда-то в сторону, вахмистр спросил:

— Скоро будет привал?

— Не могу сказать, господин вахмистр!— снова бросил руку к козырьку Лобов.— Говорят, в Сергеевке какой-то остаиовимся...

Вахмистр поскреб в ершистых усах, словио смилостивившись, иакоиец сказал:

— Будьте при нас, пес с вами. Шнроко разннул в зевке губастый рот и добавнл:— Нет ли чего для освежеиия головы? Мы, что было, все вылакали.

— Как же, есть!— Лобов суиул руку за пазуху и вынул оттуда две фляжки, ловко привязаниые друг к другу.— Вот ои, как слеза господня. У зиакомого фершала за часы вымеиял. Водица-то развести есть?

Услышав о выпивке, перебрались на стороиу вахмистра два казака, сидевшие по другую сторону брички. Они былн босы, нежили иа солице сопревшне в сапогах иогн. Намотал вожжи иа перекладиину передка и третий, правивший лошадьми. И тоже перебросил босые ноги в компанию.

— Вода найдется,— вахмистр сдернул с «максима» свою гимнастерку и потянулся к кожуху.

Поняв его намерение, Лобов посоветовал:

— Вы бы не из своего, господин вахмистр...

С минуту вахмистр тупо смотрел на Лобова осоловелыми от духоты глазами, потом растянул рот в догадливой усмешке.

— А ведь ты правильно брешешь! Наш пулемет — наш живот!— выволок из-под кучи какого-то тряпья и патронных цинков пустой котелок, протянул его Авдюшке.— Дуй к тому пулемету. Скажи: господин вахмистр для особливых нужд приказал слить воду из кожуха. Жив-ва!

Разведенный теплой, вонючей водой спирт и банная духота скоро привели в блаженное состояние вахмистра и казаков. Вахмистр завел было песню о горькой судьбе казака, заброшенного на чужую сторонушку, потом приказал остановить бричку. Натянул сапоги и выпрыгнул из телеги в дорожную пыль.

— Киреев! Шпарь камаринскую! Спляшу, может, в последний раз на родной земле... Эх, житуха наша собачья!..

Взревела гармошка, и вахмистр остервенело стал садить в дорогу каблуками. Незаметно угрюмое веселье сменилось разудалой гульбой. На дороге плясали все, и притопывал голой пяткой в такт голосящей гармошке сам гармонист. Закрыв глаза, он мотал головой, будто лошадь, которую донимали оводы.

Смотрел Авдюшка на невеселых плясунов — и весь наливался знобящим холодком ожидания того, что должно было случиться. И дождался. Лобов сунул ему повод своего коня, прямо с седла прыгнул в бричку, моментом отвязал вожжи от передка и стегнул ими задремавших лошадей.

Вахмистр и казаки еще плясали, когда Лобов, развернув бричку, нацелил на дорогу пулемет и встал во весь свой калачовый рост. Зажав в правой руке гранату «лимонку», а левой вцепившись в кольцо взрывателя, он трубным криком разом пресек пляску:

— Эй, плясуны! А ну сыпь рысью по дороге! Слышите?— и потряс гранатой.

Взвизгнув, гармошка шумно вздохнула и умолкла. Вахмистр опустил руки и поднял голову. Выругавшись, он шагнул было вперед, но Лобов новым криком остановил его и посоветовал казакам, пялящим на него глаза:

— Марш, говорю, рысью по дороге, иначе бомбу ки-

даю!— Лобов потянул кольцо, и трое босых казаков под водительством обутого вахмистра потрусили по дороге, в страхе косясь назад.

Лобов сунул гранату в карман штанов, упал на колени в передок брички и, крикнув Авдюшке: «Не отставай!»— рванул вожжи, дико гаркнул на лошадей.

Кони понесли.

Авдюшка снял из-за спины винтовку, удобно пристроил ее на луке седла и, накинув на согнутую руку повод коня Лобова, погнал за бричкой. Муторный холодок страха исчез, и парнем овладела буйно ликующая радость свободы. Неизвестен был исход ее, этой случаем добытой свободы, но она стала вдруг такой желанной, что ради нее он теперь готов был драться насмерть. И знал, что назад он уже не вернется.

Конное охранение приближалось скоро. Пятеро казаков, почуяв неладное, остановились, стенкой перегородили дорогу. Ждали. До них оставалось шагов двести, когда Лобов снова развернул бричку и припал к пулемету. Длинная очередь простучала в прокаленном зноем воздухе глухо, но отчетливо. Из полынной поросли брызнули в горячую синеву вспугнутые жаворонки, и четверо из пятерых конных повалились с седел. Пятый, припав к гриве коня, понесся в степь. Авдюшка спокойным рывком бросил винтовку к плечу, прицелился и выстрелил. Мимо. Снова выстрелил. Всадник, будто вспомнив что-то, высоко взмахнул руками и боком стал сползать с седла.

Разбежавшиеся было кони снова вернулись к своим хозяевам, и когда подъехали Лобов с Авдюшкой, стояли над ними, низко опустив головы, будто прислушивались, дышат ли они. Трое, видно, сразу отдали богу души, а четвертый, закатив глаза, выгибался дугой и рвал на груди гимнастерку. Изо рта его толчками выплескивалась кровь.

— Пристрели,— сказал Лобов, снял фуражку и перекрестился.

Руки Авдюшки дрожали и горло перехватил приступ тошноты. Он прижал дуло винтовки к виску раненого, отвернулся и выстрелил.

— Вот так-то, братец, спокон веков на войне... Если не мы их, то они бы нас... Теперь по всей России так,— тихо заключил Лобов.

И от этих немудреных, просто сказанных слов Авдюшке стало легче. Перестали дрожать руки, и тошнота не тревожила больше.

Они сняли с убитых подсумки с патронами, сбросили в бричку оружие, привязали к задку осиротевших коней и поспешили дальше, тревожно думая о своей судьбе.

Степь накрывали густо-синие пыльные сумерки, когда они подъезжали к городку. Двое с ружьями наизготовку прыгнули на дорогу так неожиданно, что кони в испуге рванули бричку в сторону.

— Стой!.. Кто такие?

Натягивая вожжи, Лобов покаянно пробормотал:

— Братцы, помилуйте, сдаемся...— он разглядел на солдатской папахе одного красную полоску.

Авдюшка выронил винтовку и, словно спеша схватить ее, упал на колени.

Успокаиваясь, кони бренчали удилами и шумно всхрапывали.



Глава третья

I

Узнав, что к красным перебежали двое, перебив казаков и прихватив с собой пулемет, Семияр-Горев минут пять играл плетью с таким видом, словно ничего не случилось. Потом сказал, поглаживая теплую гриву коня:

— Расстрелять вахмистра и пулеметчиков!.. За пьянство в походе!..

Когда сухой степной воздух выплеснулся из неглубокой балки двумя нестройными залпами и плотно улегся в ней снова, полковник Ярич перекрестился, сморщился, словно страдая зубами.

— Напрасно вы так, Борис Михайлович. Жестокость сейчас неуместна. Хорошо, если мы останемся генералами без армии. Может быть хуже: казачишки нас выдадут большевикам. Когда наступает конец, каждый думает о себе.

— Вы тоже думаете так?— Семияр-Горев впился в начальника штаба краем глаза, едва видимого в хищном прищуре.

Полковник, наливаясь злом, безбоязненно махнул рукой.

— Вы стали невыносимы, Борис Михайлович!.. С вами невозможно разговаривать. Да-с!.. Умерьте свой психоз... Я думаю, как бы поскорее убраться за кордон, и вам советую думать об этом... Казачьего вождя из вас не получи-

лось, останьтесь для них тем самым спасителем, которого разыгрывали до сих пор.

— Советую вам, полковник, укоротить немного язык!

— Не пугайте, милейший!.. Да-с! Время игры кончилось, разделим же по-дружески выигрыш!— полковник закурил, натянул на ноги одеяло из верблюжьей шерсти — вечерняя прохлада добиралась до его ревматических ног.— А если вы и для этого случая заготовили какую-нибудь аферу, за кордоном полковник Дубасов пристрелит вас. Больно много приходится на одну китайскую провинцию беглых русских офицеров. Надеюсь, вы поняли меня?

Семияр-Горев не ответил: то, чего он боялся, началось. Вспомнилась библия. Христос на последней вечере сказал своим сподвижникам: «Утром один из вас предаст меня». Его, атамана, уже предали — исчез, «как тать в нощи», полковник Дубасов со своим окружением.

Атаман ехал верхом рядом с экипажем, в котором морщился от боли в ногах его начальник штаба. Впереди и сзади — конский топот да дробный перестук тележных колес. И в этом большом шуме атаман уже не чувствовал своей силы — это была чужая сила, страшная и пугающая, как скала над головой, которая вот-вот должна упасть.

На серое небо высыпали звезды, и наступившая ночь вся стала невидимой опасностью! Проехали березовый колок, мрачно темнеющий неподалеку от дороги, и атаман подумал, что оттуда могут ударить из пулемета — и остатки его отрядов рассеятся. Он останется один, и это будет конец.

Тогда, вначале, все казалось простым: обозленные на Советы и комиссаров казаки под его, атамана, водительством сокрушат власть голодранцев и восстановят старые уклады жизни. Сам Борис Михайлович Семияр-Горев хотел увидеть на русском престоле снова монарха. Был случай, когда адмирал Колчак давал ему генеральское звание. Отказался. Высокомерно ответил, что генеральские погоны примет только из царских рук. Но оберегал пьедестал адмирала — верил в его звезду. И в свою. Мечтал въехать в первопрестольную с почетом.

Колчак до Москвы не добрался, вся царская семья расстреляна большевиками в Екатеринбурге, генералы бегут от тех самых голодранцев, которых они не представляли у кормила России. Казалось, гнули неказистое древо к земле, а оно вдруг выпрямилось и расшвыряло своих насильников невесть куда.

Нет, не винил себя атаман в провале затеянной им авантюры. В гневе он распекал казаков, в каждом бою оглядывающихся на свои станицы.

Трепыхался, белея черепом, впереди охранного взвода черный атаманский стяг. Семияр-Горев прикрыл глаза, чтобы не видеть его,— о многом он напоминал...

Кони в упряжке экипажа, захрапев, вдруг вздыбились и рванули в сторону. Их страх передался коню атамана, и тот взвился свечой. Атаман, от неожиданности потеряв поводья, вылетел из седла и распластался в придорожной пыли. И сразу вскочил, испуганный, выхватил маузер.

— Господин атаман, заяц,— робко сказал кто-то из охраны.

— Что!

— Заяц шмыгнул через дорогу,— пояснил казак. В черном мундире, он показался на миг дьявольски страшным.

Другие телохранители, тоже в черном, ловили атаманского коня.

Охранный взвод, не видав случившегося, уходил вперед, теряясь в густой темной ночи. Атаман, взвинченный скверным предчувствием, бросил в ночь одинокий крик:

— Стой!..

Полковник Ярич приподнялся на походной постели, шумно зевнул и спросил:

— Чего вы орете, милейший? Так можно панику поднять. Зайца испугались?..

Атаман повернулся к экипажу, вскинул маузер — и опустил. Время безнаказанных расстрелов прошло, и не было уже тех, кто так охотно стрелял за него. Теряясь от бессилия ответить на оскорбление, Семияр-Горев сунул маузер в кобуру, пустил сквозь зубы:

— Коня!

Казаки подали поводья атаману, он неторопливо укрепился в седле, смиренно сказал полковнику:

— Я к подъесаулу! — и повернул коня.

Трое телохранителей в лохматых башкирских папахах, словно привязанные, потянулись за ним.

Полковник Ярич усмехнулся вслед: заметался военачальник, как игрок, проигравший чужие деньги.

А он, полковник, спокоен. Через лазутчика он давно договорился с синьцзянским дубанем... Довольно грабить матушку Россию, морочить голову мужикам. Пора на покой. По утрам — самовар, прогулка по собственному садику, охота на фазанов, (говорят, этой диковинной дичи за кор-

доном видимо-невидимо), по вечерам — игра в карты с женой...

Жена!.. Полковник отбросил одеяло и потянулся. Жены пока нет. Была когда-то, но в этой дурацкой кутерьме он потерял ее. И не жалел об этом: женщин везде и всегда было достаточно. Полковник снова блаженно закрыл глаза и потянулся: вспомнил цыганку Зинанду. Вот это женщина! Не человек, а зверь лютый... Нет, пожалуй, не зверь, а змея хитрющая. Звал ее с собой, золотом осыпать обещал. Так залилась сатанинским смехом и ответила:

— И какой, дедушка, из тебя муж?.. Да ты из-за своего брюха и земли-то не видишь.

Где она теперь, кого одаривает своей неуемной страстью? Неприятно защемило в душе у полковника, и снова заныли ноги; он до тоски позавидовал цыганам. Никакие монархи им не нужны, и ко всякой жизни они легко привыкают — только бы воля.

«Бог с ней, с Россией!— попробовал успокоить себя полковник.— Везде хорошо, когда есть золото»... Он закрыл глаза, попробовал отогнать невеселые мысли, но напрасно. Болели ноги, ныла душа, память настойчиво подсовывала что-то. Совсем некстати полковник вспомнил, как в Омске у одного из ресторанов он каждый вечер встречал весьма примечательного человека. Высоченного роста, с большой облысевшей головой, крепко сидящей на развернутых плечах, прикрытых драным пледом, этот человек держал в вытянутой руке помятый цилиндр и говорил четко:

— Господа, было время — лошадей поил шампанским... Не скупясь, подайте на косушку!— снежинки таяли на крепкой лысине странного нищего, а он, будто отрешенный ото всего, ни на кого не смотрел и требовал милостыню.

Полковник достал из-под подушки фляжку с коньяком, отпил. Радостью набежавший хмель успокоил его, и он было снова предался мечтам о будущей жене, но его окликнули:

— Господин полковник!

Сдернув до колен одеяло, Ярич приподнялся. Рядом трусил кто-то из хорунжих.

— Я слушаю. Что?..

— Партизаны объявились в тылу. Что прикажете делать?

Полковник Ярич стал на коленях в экипаже, мелко дрожа, ответил:

— Доложите об этом атаману. Он с подъесаулом...

— Слушаюсь, господии полковник!— иеузиаиный хорунжий козырнул и остановил коия, пропуская мнмо тревожио дремлющее на ходу отступающее войско.

Полковник слушал иочь. Или от выпнтого коньяка, илн от протнвной, как зуд, дрожи, его тошиило.

2

Подъесаул Краснов иедомогал. Расходнвшаяся чахотка сухнм кашлем раздирала грудь, облнвала липкнм холодным потом, от которого так знобнло, что подъесаул не мог без уснлия слова вымолвить. Он выпнл столько самогона, что булькало в жнвоте, но не был даже слегка пьян — болезнь верховоднла и хмелем.

Знал подъесаул: покой ему нужен н теплая постель. Но прнходнлось трястись по бесконечной дороге, глотать пыль и пить, чтобы не слншком ясно вндеть свою недалекую кончииу...

Прошлой зимой в одном кержацком селе его с сотией врасплох застали красные. Сотню партнзаны перебнли, а комаиднр ее, в одном белье, в сапогах иа босу ногу, чесал восемь верст до другого села. Продрог тогда снльно и стал чахиуть. Всегда ему холодно, даже в жару поверх мундира ои стал носнть полушубок, на ногах — валенки.

Подъесаулу хотелось в седло, сеять вокруг смерть н любоваться ею. Скорее бы эта Сергеевка — последнее село на последнем пути.

— Подъесаул, вы спите?

— Нет, Борис Мнхайловнч,— подъесаул высунулся нз тулупа, прнподнялся иа локте.— Лихорадит, черт возьмн. В тепло бы сейчас да поспать как следует. Хотите сивухн?

— Нет,благодарю, ие до этого,— Семняр-Горев с коия перебрался в бричку с перннами и подушками. Коиь его, мотая головой, бежал рядом.— Как вы думаете, подъесаул, за кордон удобно нам идти с этой ордой? Я говорю о нашнх бывших отрядах?

Атаман говорил шепотом, наклоияясь к самому уху подъесаула н стараясь не вдыхать — боялся заразиться чахоткой.

Подъесаул откашлялся, сплюиул на другую сторону, с тяжкнм снпом ответил:

— Наполеон броснл армию на Березиие и со свнтой подался в Парнж... Но ие так-то просто иам оставнть свою

«гвардию»... Казаки нас в клочья разорвут. Вы знаете русского человека: только обозли его!..

— На границе нас могут задержать и разоружить. А я не желал бы оставаться среди своих «братьев казаков» безоружным. Я сейчас для них еще атаман, потому что имею силу. Завтра же на меня, бессильного, они плевать будут. Я стану для них причиной всех бед...

— А вы с этим не согласны?— будто между прочим спросил подъесаул.

Семияр-Горев вздохнул и промолчал...

— Казачишки не ропщут, атаман? Советую за малейшее ослушание без суда расстреливать!— подъесаул схватил за руку Семияр-Горева, крепко сжал ее.— Оставим моих варваров, а остальных — в расход, или пусть идут куда хотят!

— Дело в том, что идти им некуда. К большевикам с повинной? Поздно!.. Дорога одна: за нами...

— На кой черт нам такой хвост?

— Об этом я и хотел с вами поговорить. Вы уверены, что ваши «варвары» верны вам?

— Безусловно!.. Вы ведь знаете: любой из них самого Каина за пояс заткнет... Жаль, что отступать приходится — так хочется погулять еще!.. Ведь слава остается и за подлецами, а мы, атаман, откровенно говоря, относимся к ним.

— Вы, знаете, подъесаул, наш начальник штаба, эта старая баба, стал грубить мне и угрожать...

— Расстрелять мерзавца!— давясь кашлем, выкрикнул подъесаул.— Я давно замечаю, что он нос воротит от нас. Запасся, подлец, золотом и возомнил о себе черт знает что!.. Прикажите — и я его живо отправлю к праотцам...

Откровенность и зло подъесаула обнадеживали атамана, но не успокаивали. Неверие в завтрашний день, предчувствие гнева людей, которых он не довел до цели, не давали ему покоя. Угнетало недоброе предчувствие: не зря заяц перебежал дорогу. Было уже такое в одном бою с красными. Тогда их артиллерия разметала атакующих казаков, а один снаряд угодил прямо в штабную кухню атамана.

— Поручаю вам, подъесаул, убрать полковника. Тихо и при подходящих обстоятельствах. Надеюсь, вы поняли меня?

— Как не понять: прирезать Брута незаметно, дабы не обеспокоить Цезаря.

Подъесаулу стало жарко. Он распахнул тулуп и сразу же стал давиться сиплым кашлем. Снова забрался в вонючие овчины. «Сволочь!— подумал он, с завистью оглядывая тугую фигуру атамана.— Пьешь баранью кровь, пудовыми гирями крестишься. Но и для тебя найдутся «подходящие обстоятельства»!..

Семияр-Горев протянул руку, схватился за луку седла. Умный конь приостановился, и хозяин легко вскочил на него.

— До Сергеевки, подъесаул!— атаман пришпорил коня и, придерживая его, туго натянул поводья.

Подъехавший хорунжий с почтительного расстояния стал докладывать о появлении красных. Слушал атаман и все крепче вжимался в седло, словно конь вот-вот должен был рвануться и сбросить его.

3

Рассветало. Забравшись в развалины киргизской могилы, Семияр-Горев оглядел тихое, чуть видное в голубоватом сумраке село. С прилизанного временем кургана на село смотрели жерла трех полевых орудий. Одиннадцать пулеметов готовы были в любую минуту плеснуть свинцом.

Заалел восток, и наступило то ясное раннее утро, когда сон особенно крепок, а тишина так величественна, что ее хочется слушать. В селе проснулись петухи и разноголосо возвестили начало нового дня, не ведая о том, что людей он, может быть, совсем не обрадует.

В бинокль атаман не увидел даже часовых. Можно было подумать, что в селе вообще никого нет, если бы не обоз. Он тянулся сплошь через всю единственную улицу, которая кончалась дорогой за кордон. Значит, это не красные?

— Трубач!..

И с кургана по команде ударили орудия. Торопливо, словно нагоняя мгновенное промедление, застучали пулеметы. Коршун, властно распластавшись в розовой выси раннего утра, шарахнулся в сторону и косо понесся прочь, к далекому горизонту, где не было людей и страшных дел их.

Орудия били прямой наводкой, и первые же снаряды угодили в самое нутро Сергеевки: напрочь была снесена колокольня с небольшой церквушки, взлетели вверх крыши домов и заплоты, запылали скирды прошлогоднего се-

на. Со скованного сном села будто неожиданно сдернули одеяло — оно всполошилось, вскочило, заметалось, обнаженное.

Семияр-Горев хорошо видел в бинокль: у обоза засуетились люди. Запрягали лошадей, кричали что-то, размахивая руками. А из домов, будто из вокзала к долгожданному поезду, бежали женщины с детьми, некоторые в одном белье, другие на ходу одевались.

Видел атаман и другое: на окраины села выбегали люди в зеленых мундирах, с винтовками, со знанием дела занимали оборону. Установили один пулемет, второй. И вот над головой атамана тоскливо зацвикали первые пули. Один из казаков охранного взвода, словно удивляясь чему-то, тряхнул головой и грудью повалился на гриву коня — пуля угодила ему прямо в переносицу.

«Хорошо,— подумал Семияр-Горев,— очень хорошо!» — и прирос к биноклю: на противнике были знакомые мундиры... Да, он напал на своих союзников... Союзников?.. Нет, этот плюгавый генералишка Дутов, объявивший себя вождем оренбургского казачества, стал ненавистен ему, Семияр-Гореву, с тех пор, как со своим отребьем явился в его владения. Генерал-лейтенант Генерального штаба... Прохвост! Отступал — как в гости ехал: семьи офицеров вез в обозах, кастрюли и ночные горшки, всякую интендантскую чепуху и типографию. Генерал, а ума — как у старой бабы: отыскал какую-то святую икону богоматери и объявил ее покровительницей своей растрепанной большевиками армии! Не молиться нужно было, а побольше убивать...

Нет, не было и не будет двух цезарей в одной империи...

Подлец!.. Сам уже за кордоном, а свой обгаженный хвост оставил здесь!..

Икону божьей матери, конечно, не забыл — неспроста поговаривали казаки: вся святость чудотворной — в ее пудовом золотом окладе.

Из села повели огонь дружнее, упорнее. Казаки охранного взвода уже с тревогой поглядывали на атамана, но он не приказывал уходить в укрытие: сам, как мишень, торчал под пулями и их держал.

Подъехал подъесаул, в полушубке и валенках. Бросил повод денщику, подошел к атаману. Обглоданное болезнью, давно не бритое лицо его полыхало жаром, утонувшие в синих глазницах, дико блестели глаза.

— Своих, кажется, лупим, Борис Михайлович!— от возбуждения подъесаул и кашлять перестал, хотя перекрикивал шум боя.

4

Село горело. Густые серо-черные клубы дыма низко кружились над ним, как упавшие грозовые тучи, а жирные языки огня жадно хватали все новые и новые жертвы; обезумев от страха, метались женщины, дети. Сорвавшись с привязи, мчались куда попало кони.

Обоз, запруднвший улицу, расшвыривали рвущиеся снаряды. Вверх летело какое-то тряпье, пух, дробины и оглобли от телег. И никто уже там не пробовал запрягать. Но с околицы все дружнее и увереннее велась стрельба. Видно, дутовцы совсем не думали отступать. Что же, это неплохо!..

— Трубач — атаку!

Стараясь осилить пальбу, трубач натужился и послал новый приказ атамана. На село пестрой, пьяно горланящей лавой покатились пехотинцы и спешенные казаки. Батарея и пулеметы умолкли, и до щекотания в ушах стало тихо. В этой тягостной тишине злобные крики и грубая брань атакующих напоминали рев безумных.

Въедаясь глазами в каждую мелочь боя, атаман весь ушел в ожидание: схлестнутся или нет? Если нет — придется уходить по бездорожью; не уходить — бежать постыдно, подобно жалкому вору...

Сшиблись!.. Крики, ругань слились в густой нелюдской вопль. Натравленные отчаянием и злобой друг на друга, избивали русских русские. Каждый считал виновником своей искалеченной судьбы того, кто был перед ним. И рвался убить.

— Коня!

Но денщик Мишка замешкался — и к атаману с грохотом подкатила бричка. Струнами натягивая вожжи, полковник Ярич почти валился на спину. Шатаясь в туго набитой бричке, смахнул мокрые косички волос со лба на лысину, зычно поведал атаману:

— Партизаны! В тылу у нас их целый эскадрон, развернулись для атаки под своим красным знаменем!..

— Паникер!— атаман выдернул из кобуры маузер, хотя понимал, что начальник штаба неспроста выметнулся из тыла.

Но выстрелить ему не пришлось. Подоспевший подъесаул высоко занес шашку — и большая голова полковника отвалилась вместе с плечом в бричку.

А полковник был прав.

Подъесаул живо послал шесть бричек с пулеметами прикрывать тыл и снял с себя полушубок — не до хвори. Его особая сотня готова была рубить кого угодно.

Набив руку в бесплодных убийствах, озверев от неизбывного чувства безнадежности и хмеля, рванулись казаки вперед. Рубили молча одеревеневшие в удивлении лица — не ждали, когда они крикнут: «Свои!..» Рубили остервенело, точно не людей, а собственную совесть — чтобы не мучила. Звенел металл, хрустели кости, храпели одурманенные людской кровью кони и несли сцепивших зубы седоков.

Слышал атаман, как за спиной четко затарахтели пулеметы, останавливая самого страшного врага,— красных партизан, и гнал коня в стремительном галопе.

По загроможденной разбитым обозом улице проскакивали вереницей, полосуя шашками налево и направо. Уже на выезде из села на четвереньках вылез из-под осевшей на одно колесо брички в окровавленном мундире человек. Припадая на левую простреленную ногу, он схватил под уздцы атаманского коня. И зло и горестно прокричал:

— Брат-атаман, что же это?

На мгновенье Семияр-Горев опешил, глядя в искривленный душевной болью рот неожиданного судьи. Но ему помогли ответить. Мишка взмахнул нагайкой — и с плеча атаманского недруга слетел полковничий погон. Второй раз верный денщик не промахнулся — плеть змеей обвилась вокруг бритой головы дутовского полковника. Он поднял вверх руки и, сбитый атаманским конем, упал.

— Мерзавец!— плевком полетело в атамана.

На рысях перешли мелкую речушку — границу. Неподалеку, преграждая путь дальше, стояли чужие солдаты в серых мундирах, тонконогие,— икры их стягивали обмотки. Они ждали.

Негромко простонав, Семияр-Горев повернул коня и стал смотреть назад, за речку, туда, где было много надежд, но остались только проклятия его имени.

Съезжались казаки, еще шальные от бессмысленной рубки. Расплескали речку скатившиеся в нее обоз и брички с пулеметами прикрытия, а Семияр-Горев все смотрел...

Его вывел из оцепенения вопль:

— За что я его, за что!..

Атаман обернулся: припав к пропыленной гриве коня, бился в рыданиях и скрипел зубами денщик Мишка.

А за речкой показалось горячее солнце, и, словно оберегая его, живым, прочным частоколом с бегу выстраивались всадники — те, кто еще не отвоевался и остался жить и умирать на родной земле во имя ее бессмертия. И знамя, пропитанное их кровью, восходно полыхало над ними.

Эпилог

Земля была чужая, но море и здесь казалось своим. Свинцово-серое, бросало оно на берег высокие, поседевшие от неустанного труда волны и вздыхало всей своей неуемной глубиной. Недалеко от берега скрежетала металлом полузатопленная баржа. Перекатываясь, волны выхватывали из ее утробы человеческие трупы и гнали их на берег.

— А много их наколотили! — восхищенно проговорил младший лейтенант.— Уплыть хотели, а куда?

— Когда человек бежит с толпой, он не думает, куда,— ответил адъютанту майор Синицын, продолжая думать о своем, о том, что напомнил ему русский в форме вражеского офицера.

...Партизаны помогали сергеевцам тушить пожары, хоронить трупы, которые возили на кладбище телегами. Кажется, все село тогда голосило, оплакивая свою судьбу; в общие могилы ложились иногда просто окровавленные куски человеческих тел, еще не познавших как следует тепло и холод жизни.

Убежав от атамана, среди новых товарищей Авдюшка Синицын не чувствовал себя своим: ему казалось, что вот-вот явится кто-то, повернет его лицом ко всем и скажет: «А ведь он застрелил комиссара!»

Он не думал раньше, что невольное преступление, которое он совершил когда-то, будет преследовать его, как вечная тень, поэтому скрыл его. Но когда прошла радость самопрощения, наступило ее похмелье: он желал смерти всем, кто видел его в ту буранную ночь на Иртыше; и не боялся уже своей. Жадно ждал боя, надеясь добытыми подвигами уберечь себя от неминуемого наказания.

...Дважды под Авдюшкой, спотыкаясь, падал на колени конь, оба раза он вылетал из седла. И снова вскакивал,

одержимый одной мыслью: «Скорее! Смерть или подвиг!»

Он настиг только одного казака. Младший урядник Курицын, насмерть удивленный и напуганный, хотел крикнуть что-то, но Авдюшка со всего плеча рубанул его по голове. И почувствовал облегчение от того, что враг и свидетель не успел и рта раскрыть. На этом погоня окончилась. Усмиренный свирепым видом другого казака — обернувшись, казак оскалился и внушительно погрозил шашкой,— Авдюшка осадил коня у самого кордона и подумал, что все свидетели его греха ушли туда и бояться нечего...

Но потом боялся пленных, а их было много. Когда подвели еще толпу, голос из нее словно приподнял Авдюшку над землей и бросил навзничь:

— А он убил красного комиссара!.. Самолично видел!..

Кричал старший урядник Харя, тянулся дрожащей рукой к Авдюшке, как к собственному спасению, и визжал:

— Он, он!.. И под лед спустил!..

— Брешешь, стерва!— до онемения стиснув кулаки, Авдюшка двинулся на своего бывшего командира.— Не сам я, заставили меня.

Партизаны молчали. А Авдей Синицын тихо заплакал. И никто его не утешал...

— Товарищ майор, машины за трофеями пришли!— доложил адъютант, немного озадаченный необычно долгой задумчивостью командира.

Майор обернулся, пристально поглядел на младшего лейтенанта, сказал:

— Далеко их везти, но довезем!

Майор, положив свою задубевшую руку на гладкий и чистый погон адъютанта, продолжал:

— Для тебя все дороги будут ясны, нам же приходилось много плутать, спотыкаться, думать и ошибаться.

Море плескалось, шумело и ни о чем не напоминало младшему лейтенанту: он был счастливее своего командира.

Пески, пески...

Из солдатского письма:

«...Дорогая Рита! Я в этих песках загорел так, что стал похож на самого настоящего негра из настоящей Африки. Смеюсь, когда вспоминаю, как жалко загорали с тобой на берегу речушки за городом.

Недавно на тактических занятиях мы носились на своем танке по барханам, как по волнам. И на привале в одной лощине я нашел,— знаешь что?— Саблю! Она заржавела немного, но все равно — память о здешней истории. Хочешь — подарю.

...Очень прошу тебя: вышли все популярное по электронике. Ты ведь знаешь мою мечту...»

* * *

Не выдержав красноармейского нажима, басмачи брызнули из кишлака в горы, как семена из раздавленного граната. Командир скомандовал преследование, и взвод, сверля шашками одуряюще горячий воздух, полетел в горы. Они казались синевато-серыми и дрожали в раскаленном мареве.

Командир взвода был молод. Он любовался скрипящими на нем ремнями новой портупеи и думал только о победах, не представляя неудач. Первый для него бой с басмачами прочно утвердил в нем непобедимого военачальника, и он гнал изнуренный зноем и беспрерывными тревогами отряд в каменное царство гор.

За конниками тянулась густая песочная пыль. Сперва она отставала, потом стала накрывать мокрых от пота людей и лошадей. Взвод выдыхался.

— Надо бы вернуться,— сказал взводному командир первого отделения Семен Гуков.— Укрепимся в кишлаке и отдохнем, а так — в беду встрянем. В горах басмачи как

змен в этих проклятых песках: они тебя видят, а ты их нет.

Командир уже захмелел от легкой победы. Он верил, что добьется и большего. Скосил на отделенного удало поблескивающий глаз и ответил:

— Я командир!

Кони были разные, и взвод смешался. Местные, азиатские скакуны, казалось, не знали устали и пластались над песками легко и зло, как спущенные на дичь борзые; кони из русских мест, привыкшие к земле и ласковому солнцу, жарко храпели и сбивались с галопа. И плети всадников выбивали из них последние силы.

Первое отделение гордилось своими конями, отбитыми у басмачей, а жеребец командира Мелекуш, по-русски — конь коней, словно рожден был сказкой. Недаром его бывший хозяин, одноглазый курбаши, плакал и грыз песок, когда повод его любимца попал в руки русского с большой красной звездой на шапке, похожей на купол минарета.

— Мелекуш, Мелекуш!— выл басмач.

Иссеченный красноармейской шашкой, как змея, у которой целой осталась только голова, он силился в приступе ярости вцепиться зубами в ногу Семена Гукова.

Мелекуш не знал повода и плети, он подчинялся только ласке и доброму слову.

Давно бы Гуков со своими ребятами настиг басмачей, но безрассудно было отрываться от взвода, и он похлопывал Мелекуша по горячей, резиново-упругой шее, сдерживая его. И отделение тоже осаживало.

Эскадрон рассыпался в скачке и походил на оторвавшиеся от дерева листья, которые гнал как попало ветер.

Слышны были глухой топот и звон копыт о камни, свист сабель и неистовые крики и храп обессилевающих лошадей.

Как козы, стремительными и точными прыжками басмаческие кони несли своих хозяев на гребень крутого склона; казалось, слышался скрежет их копыт по граниту.

— Командир, вернемся в кишлак!

На красном лице взводного крупным бисером искрился пот, но глаза его выражали упорство, непреклонную волю.

Басмачи перемахнули гребень, и сразу же оттуда, сверху, застрочил пулемет. На взвод, замирающей лавой натекший к подножью склона, понеслась смерть. Конь взводного тяжело мотнул головой и, роняя кровавую пену, упал грудью, словно споткнулся.

С гребня невидимо били из пулемета, винтовок и маузе-

ров. Сшибали конников прицельно и на выбор. Взводный побелел. Суетясь, он выдергивал из-под мертвого коня ногу. При падении командир выронил шашку, и она блестела зеркальной полоской в рыжем песке.

Командир первого отделения потрепал Мелекуша по шее, и конь упал. Из-за него, как с защитного упора, Гуков стал отвечать басмачам из карабина.

И конники, кто мог, валили коней и прятались за ними; другие летели с седел, бросали поводья коноводам и зарывались в песок; многие оставляли седла навсегда и не прятались от смерти — она завладела ими.

Песок обжигал и без того высушенные тела бойцов, и жажда туманила мозги — если бы хоть каплю воды можно было высосать из камней, их бы сосали.

Крича молитвы аллаху и предавая всем проклятьям гяуров, басмачи наступали. Они прыгали с камней на камни и стреляли.

Конники отвечали наугад.

Распластавшись за убитым конем, расстреливал горы из маузера и командир взвода. Солнце выжарило ремни его портупеи, и они потускнели и покоробились, как листки бумаги близ огня. Глаза командира отрезвели от удали и просили помощи.

— Уводите взвод, я своим отделением прикрою вас!— прокричал Гуков и закашлялся — сухота сводила горло.

— Коня!— ответил одними губами взводный.

Командир отделения отрицательно замотал головой — Мелекуш был предан только тому, кто давал ему корм и воду, и показывал зубы всякому, кто хоть пальцем пробовал коснуться его. Почти месяц приучал Гуков Мелекуша к себе,— конь долго не мог забыть одноглазого курбаши.

Гуков прохрипел:

— Он скинет вас...

Чалмы и высокие лохматые папахи басмачей замаячили среди камней уже недалеко. Взводный, весь в песке, сперва пополз, а потом, пригнувшись, побежал. Он что-то кричал, растопырив руки, как беспомощная птица крылья.

Отделение прикрытия отстреливалось упорно и спокойно, и басмачи все чаще и чаще застревали в камнях. Они выли и визжали неугомонно, словно обезумев от злобы. И звериную ярость их, а не смертельно ядовитые посвисты пуль, слушали красноармейцы.

Оглядываясь, Гуков видел: взводный в нетерпении шпорил чьего-то коня, и отряд как попало торопился за ним.

Басмачи ликующим воем и спешной стрельбой провожали отступающих.

«Их лошади за склоном.— соображал Гуков, выцеливая врага.— Пешими они за нами не побегут... А пока на коней сядут — догоним своих...»

Басмачи перестали выть и встревоженно загалдели, вероятно, совещаясь. Отделенный взял Мелекуша за ухо. Конь вскочил, и всадник был уже на нем и кричал команду.

Заслон уходил быстро и собранно. Два коня скакали одиноко — тела двух красноармейцев болтались поперек седел товарищей.

Кишлак был небольшой. Окруженные старыми дувалами[1] глинобитные мазанки, казалось, давным-давно забыты жизнью. Но люди в кишлаке жили и невидимо следили за тем, что делалось в пустыне — видели ее через дыры-бойницы, пробитые в дувалах басмачами.

Взвод вслед за своим командиром перемахнул через дувал, как учебное препятствие взял, положил коней и сам залег. Басмаческие бойницы оказались кстати.

Враги, завывая и прижимаясь к гривам коней, запоздало понеслись в атаку. Их полосатые халаты пестрели на фоне песков и гор, как арбузные корки.

Напоровшись на огонь красноармейцев, басмачи рассыпались и стали обтекать кишлак. Они спешились и поползли, почти невидимые в сыпучих песках.

Пули зашлепали в дувалы, выбивая из них едучую пыль и стремительных ящериц.

Отделенный Семен Гуков выругался: за дувалами торчал высохший до звона бурьян и мешал стрельбе. Его надо было притоптать перед боем, а теперь поздно: вражеские пули шуршали в нем, как змеи гюрзы.

Басмачи наползали, и каждый боец из отделения Гукова, и сам отделенный, чувствовали это, как страшную беду.

Посланный к командиру взвода связной вернулся скоро — в кишлаке никого из своих не было, взвод ушел вместе с командиром в новой портупее.

У Семена на миг опустела голова от такой вести. Он обмахнул языком сухой, как пустая глиняная чашка, рот и спокойно сказал:

— Сволочь, хоть бы один пулемет оставил,— и сунул лежащему Мелекушу последний кусок лепешки.

---

[1] Дувал — глиняная стена, ограда.

Басмачи прорыли песок до дувалов, стали орать:

— Қзыл-аскер, сдавайтесь!

И стреляли весело, будто на каком-то празднике. И, кажется, со всех сторон.

— Отступать!— выжал из пересохшей глотки Гуков и дернул правой ногой — в нее вонзилась горячая, нетерпимая боль.

Ему некогда было думать, что он ранен, и как. Выдернув из бойницы карабин, он упал на Мелекуша — только так нужно было сделать в эту минуту. И конь понес, умно выбирая путь.

За кишлаком Гуков сел в седло,— до этого он лежал на нем. Правая нога онемела, и Гуков руками кое-как устроился в стремени.

Оглянулся: за ним скакали трое. А у кишлака тревожно метались кони тех, кто навсегда остался в этой мертвой, бесконечной пустыне.

Из кишлака бил пулемет, и пули выли вокруг. Они догнали и троих, спешащих к своему командиру, сбросили их с седел и распластали на песке.

И снова в голове Гукова на мгновение зазвенела пустота. Он остался один и не знал пути к своим — пески и пески были кругом.

Слезы высыхали в глазах, душу рвала обида на того, кто верил только себе; ныла пробитая нога, и кровь, вытекая из раны, спекалась на жестком, будто жесть, голенище сапога.

Оборачиваясь, Гуков стрелял, а басмачи катились за ним неотступно, и солнце потешалось блеском их кривых сабель.

Гуков не думал о себе, он весь отдался Мелекушу — последней надежде остаться живым. И конь, длинно вытянув шею и прижав уши, в клочья рвал грудью спрессованный солнцем воздух.

Басмаческие пули словно играли с командиром в смертельную игру: грозили и терзали, но не убивали. Он чувствовал уже несколько ран и слабел, теряя кровь. Отстреливаясь, думал одну завладевшую им думу: только бы не попали в Мелекуша. Упадет конь — конец: ему тогда распорют живот, выколют глаза. Даже мертвому.

Когда, простреленная, стала чужой левая рука, Гуков расстегнул поясной ремень и привязал им себя к луке сед-

---

[1] Қзыл-аскер — красный солдат.

ла. Так делали басмачи — раненого или убитого, конь все равно принесет хозяина к своим.

Он теперь не мог перезаряжать винтовку и тоже привязал ее к седлу. Вынул из кобуры наган, но пока не стрелял из него — жалел патроны. Израненное тело уже перестало чувствовать боль, и захотелось спать. Впереди и сзади уже не томило глаза горячее марево, оно, казалось рассыпалось на миллионы судорожно трепещущих блесток, и они, эти блестки, упрямо лезли в глаза, утомляя их. И не виделось из-за них ни басмачей, ни того, что было впереди.

Мелекуш резко свернул влево, и Гуков, удерживаясь в седле, по мальчишеской привычке вцепился в гриву. Встряхнув головой и отогнав сонную одурь, он поглядел вперед: конь нес его в небольшую лощину. И неспроста: в ней стояла навьюченная лошадь, возле нее — человек. Лошадь, низко опустив голову, словно думала тяжкую думу, а человек то бежал прочь от нее, то возвращался.

Мелекуш сбавил бег и сразу же шумно задышал, припадая на правую переднюю ногу: он был ранен, и, вероятно, не только что.

Отделенный узнал пулеметчика из их взвода, веснушчатого зеленоглазого паренька. Проваливаясь в песке, пулеметчик заспешил навстречу своему.

— Дядя, помоги!— и заплакал навзрыд.

— Что?

— Лошадь пристала, а кругом басмачи... Бросать ее жалко... И пулемет тоже.

— Где взвод?

— Ушел, а я отстал!

Мелекуш, вздрагивая, поджимал раненую ногу, и снова становился на нее — на трех он уже не мог держаться. Семен положил его, скрипя зубами от боли в раненой ноге, тяжко протопал к лошади пулеметчика. Обессилевшая коняга еле держалась на раскоряченных ногах, закрыв глаза, чуть не тыкалась мордой в песок. И ручной пулемет, навьюченный на нее, казалось, давил ее непомерной тяжестью.

На тактических занятиях, бывало, отделенный Гуков не мог скоро сообразить, что к чему. На этот раз в голове будто посвежело. Он приказал, как саблей свистнул:

— Садись на коня!— и хлопнул здоровой рукой по жалко вытянутой конской шее.

Пулеметчик раскрыл рот, облизнув сухие губы.

— Садись, басмачи скачут!..

И парень понял приказ. Одним махом он вскочил на

шею лошади и схватился за пулемет. Еще немного — и пулемет стоял сошниками на конском крупе. Гуков указал, откуда ждать басмачей, и, обхватив здоровой рукой морду вконец обессилевшего коня, не давал ему упасть. И заставлял стоять себя.

Мелекуш вздыхал, посматривая на залитую кровью ногу и, словно жалуясь, выкатывал на хозяина зажженный болью глаз.

Басмачи пыльным валом выкатились на край лощины и остановились, оглядывая ее.

Тут конопатый паренек, от прилежания высунув язык, ударил из пулемета.

Прошитый длинной очередью, вдвое поредел частокол басмаческих фигур. Убитые кони, сплывая в лощину по песку, тянули за собой привязанных хозяев.

А пулемет стучал, и на склоне в лощину песок густо клубился, будто по нему, как по пыльной кошме, били палками.

Перед глазами Гукова снова заплясали ослепительные блестки, и пулемет тарахтел все тише, будто удаляясь. Командир отделения чувствовал, что падает, но не боялся теперь этого.

Он упал легко и вмиг позабыл все. Только пески и пески, бурые и горячие, долго колыхались в его потухающем сознании.

Очнулся он от того, что его поднимали, будто вырывали из забытья. Рот его наполнился водой, и он одним глотком опорожнил его. Не владея мыслями, командир отделения открыл глаза и долго не моргал. Память окрепла, и он увидел командира полка в красных галифе с серебряными лампасами и перед ним — командира своего взвода, распоясанного и блеклого, с повинно опущенной головой. Командир полка говорил что-то, и его пушистые черные усы шевелились, как живые. Потом бичом щелкнул выстрел — и командира взвода не стало.

Конопатый пулеметчик совал фляжку с водой в рот Семену и заставлял пить.

— Мелекуш?— вопросительно прошептал Семен во фляжку.

— Напоили и ногу перевязали,— ответил пулеметчик.

Гуков пил, и ему казалось, что вода бурлила внутри него....

* * *

Из письма красноармейца Семена Гукова родителям:

«...В лазарете лежу... Исстреляли меня басмачи всего, даже бельишко негодно стало, все в дырках от пуль... Сегодня мне исполняется двадцать один год, так вы, дорогие мои, как следует выпейте. Мне, окромя молока, нельзя... А на здешние пески я до того нагляделся, что и во сне вижу их...

Вы там за этим песком за семь верст ездите...

От безделья учусь арифметике... Давно пора бы ее знать, да все воюю...»

За колонной пленных

Дремотно вздыхая, озеро накатывало на берег легкие волны, перебирало и перемывало песок и, оставляя на нем камышовый мусор, клочки серой пузырящейся пены, снова отступало, словно устав от этой бесконечной и однообразной работы.

Оно было велико, это озеро. Его зеркальная гладь достигала горизонта и терялась там, будто расплавившись в знойном, солнечно ослепительном мареве.

Роману было три или четыре года, когда отец первый раз взял его с собой на озеро. Утро. Теплое, розовое. И тишина такая великая и торжественная, что ее хочется слушать разинув рот. Отец, молодой и сильный, в холщовой рубахе-косоворотке, неслышно, будто нож в тесто, вонзает весло в покойную глубь воды и шлет лодку вперед, сквозь сонно пошептывающий камыш. И когда лодка выскальзывает наконец на большую водяную поляну, отец каким-то колдовским движением весла вдруг останавливает ее, потягивается, блаженно трясет кудлатой головой и смеется так, словно его кто-то щекочет. И Роман смеется, тоже беспричинно, но с удовольствием, будто радость пьет.

— Тыщу лет бы жить, а?— спрашивает отец Романа и начинает выбирать из воды сети.

Верткие и скользкие, как живые веретена, щуки, пузатые и широкие, будто баклажки, караси шлепаются в лодку, прыгают, бесятся и смешно чмокают губами.

* * *

Много раз бывал Роман с отцом на озере, но в жадную память его нетускнеющей блесткой запало только это утро. И отца он помнит только таким, каким видел его в часы рождения этого большого, как целая жизнь, дня, необидно насмешливым, завидно ловким и смелым — ведь только он

переплывал это озеро и с того невидимого берега как доказательство своей победы приносил в зубах еловую ветку.

Отца в станице уважали, но почему-то подшучивали над ним и называли чудаком. Может быть, потому, что он жил не как все: не пахал и не сеял, а мастерил замысловатые вещи и ремесленничал. Роман помнит, как на удивление всей станице отец разъезжал по улицам на двухколесном самокате: одно большое колесо спереди, другое, такое же большое,— сзади. Самокат двигался сам — отец только крутил ногами. Потом уж, лет через пять, Роман узнал, что это был самодельный велосипед.

Станичники несли к отцу поломанные ружья, капканы, швейные машины, самовары. И отец все исправлял.

В станице жили казаки. И отец был казак, но почему-то этим не гордился. Не носил усов, а казачьей фуражке предпочитал соломенную шляпу. Почти у всех были хозяйства, своя земля и заимки, а у отца — ничего. Когда другие пахали или убирали хлеб, отец бродил по лесу с ружьем, стрелял тетеревов, куропаток и зайцев. А капканами ловил лис, горностаев и хорьков.

Другие ходили в церковь, а когда выпивали, пели тягучие, похожие на жалобы песни. Отец в церковь не ходил, а когда тоже выпивал, брал гармонь, широко разводил мехи и, закрыв глаза и откинув назад голову, пел никому не знакомую песню:

> Трансвааль, Трансвааль, страна моя,
> Ты вся горишь в огне....

Или встряхивал головой так, что прочь летела соломенная шляпа, и громко запевал:

> Веди ж, Буденный, нас смелее в бой!
> Пусть гром гремит,
> Пускай пожар кругом...

И вдруг отец исчез. Пошел на охоту — и не вернулся. Дней через пять в лесу на его труп набрел станичный пастух. Отец был зарублен топором...

...Неподалеку кто-то закричал, и крик этот, пронзительный, пугающий, заставил Романа вскочить и повернуться в его сторону. Из чердачного окна ближайшего к озеру дома, будто не найдя трубы, густыми сизыми клубами валил дым. Роман знал: в селе почти никого из взрослых нет,— все

уехалн на сенокос. Роман схватнл брюки, но, поняв, что глупо сейчас тратить время на одевание, броснл нх н в однных трусах рванулся к месту пожара. А навстречу ему, жалко размахнвая руками н задыхаясь, спешнла старуха Ветрова. Ее обогнала девочка н, растопырив, как крылья, рукн, броснлась к Роману:

— Дядя Роман, пожар!...— хрнпло, теряя снлы н голос, всхлнпнула она.

Взбежав по шаткой лестннце, Роман, как в воду, нырнул в плотный клубящнйся дым, заполннвший чердак. И отпрянул. Вслепую, без воздуха, невозможно было отыскать даже место огня.

Дым стлался по потолку, но потолка не касался. Протерев глаза и откашлявшнсь, Роман по-пластунскн пополз в глубину чердака, обднрая жнвот, грудь, рукн н не чувствуя болн. По едкому запаху дыма он определнл: горело тряпье, а по снле тепла — где горело. Вот он нащупал что-то похожее на старую телогрейку. Набрав в легкне воздуху, он прнвстал, сгреб тряпье в охапку н, прнгнувшнсь, добежал до окна и выброснл тлеющую, кое-где уже взявшуюся огнем ношу наружу.

Ползти уже нельзя было,— мешалн ожогн. Роман глотнул воздуха, ощупью добрался до того места, где лежал хлам, нашарнл еще что-то н опять вернулся к окну. Так он очнстнл весь чердак н, убеднвшнсь, что дым поредел н ннчто уже не горнт, почтн скатнлся по лестннце вннз. Люди сразу прнтнхлн н расступнлнсь, и Роман с уднвленнем, будто очнувшнсь от забытья, увндел, как старуха Ветрова упала на коленн н протянула к нему рукн.

— Роднмый ты мой, от погнбелн спас!..

Роман обошел старуху н направнлся к озеру, обесснленный удушлнвой гарью, обожженный. Он сразу окунулся н застонал от болн. Только теперь он понял, как снльно обгорел. Жгучая, режущая боль туго стягнвала кожу на жнвоте н руках, н вода казалась не просто теплой, а горячей. А так хотелось, чтобы она была ледяной!

Стнснув от боли зубы, Роман смотрел в небо. Оно по-прежнему было безоблачно н бездонно н навевало дремоту н грусть. Через две неделн ему нужно быть в учнлнще, но ожоги к этому временн, конечно, не заживут. И как ему теперь быть: возвращаться больным или послать рапорт о болезнн?

Вода не закрывала только нос н глаза, но Роман слышал, как рядом, на берегу волновалнсь человеческне голо-

са. Он усмехнулся: публика ждет героя! И вдруг почувствовал такую радость, что какое-то мгновение не ощущал даже боли. Он спас от огня дом Ветровых — дом Нины. Как будто он специально загорелся для того, чтобы Роман совершил тот самый скромный подвиг, который для девушки доказательнее всякого уверения в любви. И что значат эти пустяковые ожоги?

Роман поднялся из воды, осмотрел себя. Руки и живот были в красных пятнах ожогов. Пятна эти набухали, уже волдырились, и Роман с радостью подумал, что лечиться придется долго, и, встречаясь с Ниной, он уже не будет думать о своем скором отъезде.

На берегу Романа ждали.

— Касатик ты мой!— запричитала старуха Ветрова, суетясь вокруг Романа.— Пострадал-то как!.. Чем тебя и отблагодарить — не знаю!

— Чепуха, бабушка!— отмахнулся Роман.— Не надо никаких благодарностей.

Его окружили женщины и, сочувствуя ему и восхищаясь им, громко учили, чем и как лучше лечить ожоги. Одна советовала накладывать на обожженные места тертую картошку, другая — посыпать их содой.

Роман надел брюки, сапоги, взял под мышку остальные вещи и направился домой, мучаясь не столько от боли, сколько от смущения за свой вид — выпускник пограничного училища, завтрашний офицер, идет по селу без рубахи, будто по пляжу прогуливается.

Около дома Романа догнала молодая женщина с небольшим чемоданчиком в руках, на ходу окинула его цепким взглядом и заключила:

— Ожоги второй степени... Придется вам полечиться!— и уже в доме, пока Роман снимал с окон темные занавески, которыми мать затеняла комнаты от дневного зноя, продолжала:— Марганцовка есть у вас?.. Тогда я вам ее оставлю. Сделайте легкий раствор и смазывайте им обожженные места... И никаких перевязок.

— А как же я ходить буду?.. Рубаху-то поверх открытых болячек не наденешь...

— Ничего не поделаешь, придется походить без рубахи,— сказала фельдшер и в улыбке подняла черные тонкие брови:— Я думаю, девушка ваша простит вам неджентльменский вид.

Роман промолчал, наблюдая за легкими, умелыми движениями женщины и слегка поеживаясь от боли, когда она

смазывала тампоном в марганцовке уже лопнувшие волдыри.

Вошла и перекрестилась у порога старуха Ветрова. В одной руке она держала глиняную кринку, под мышкой — какой-то сверток. Она присела на краешек подставленной Романом табуретки и, жалуясь, гневно запричитала:

— Ведь что, варнаки, придумали? Воробьев жарить!.. Да и запалили тряпье на чердаке. Не случись ты рядом, родимый, сгорел бы наш дом дотла. Да и соседи хлебнули бы горя... А я вот тебе, спаситель наш, сливочек принесла да пирогов с вишней. Поешь и прости старуху за беспокойство. А с ребятишками этими просто беда. Вчера под крышей осиное гнездо разворошили, битый час осы в дом не пускали... Сегодня дом чуть не подожгли... Просто напасть, а не дети...

Было во внешности и словах старухи что-то жалкое, заискивающее, и Роману стало не по себе.

— Ничего мне не надо. Спасибо.

Он стал перед пожелтевшим и облупившимся зеркалом, висевшим над столом, давая понять, что ему не до разговоров, что он слишком озабочен другим.

Покряхтев и повздыхав, старуха встала и распрощалась. Роман стоял у окна и видел, как она, выйдя из калитки, развернула зачем-то пирожки и снова завернула. А кринку, чтобы не попала в нее пыль, пристроила под старой латаной кофтой. И кофта, и юбка, и весь убогий вид старухи напоминал не о той бедности, которая вызывает сочувствие, а о неприятной скаредности.

Роман вспомнил, что в день приезда его заходили проведать все соседи, только дом Ветровых словно вымер. И хотя Роману из его обитателей нужна была только Нина, однако такое отчуждение всей семьи казалось затаенным злом. Правда, на следующее утро, когда Роман ходил в магазин за папиросами, ему повстречался сам Ветров. Как и год назад, он был небрит, угрюм, в залатанной, давно потерявшей цвет и вид одежде. Увидев Романа, он едва приоткрыл рот и процедил сквозь седую прокуренную щетину:

— Значит, опять в отпуск?

— Да...

— Что же, отдыхай,— и Ветров направился своей дорогой, оставив Романа недоумевать: этот всегда чем-то недовольный человек мог бы поговорить с сыном своего бывшего друга. Но прошел мимо. И, глядя в окно, за которым то-

милась в зное тихая, безлюдная улица, Роман думал: странное дело, время меняет все. Изменилась родная станица. Когда-то, чтобы попасть из нее в ближайший городок, надо было целый день ехать на бричке или санях. И городок тогда казался целым престольным градом. А теперь станица стала целым городом, и деревянные приземистые дома в ней уступили место кирпичным, большеоконным и просторным. И до районного городка на попутной машине можно добраться за полчаса.

Изменились и люди. И одеваться, и говорить они стали по-новому. Называются колхозниками, а не казаками-хлеборобами, которых когда-то делили на бедняков, середняков и кулаков. Были еще подкулачники и маломощные середняки. Теперь это — уже история. И как память о живом прошлом остался Ветров. И его дом из потрескавшихся бревен, между которыми торчал мох. Только Нина и ее братишка Генка, который чуть было не сжег родной дом, оживляли эту странную семью, как новые, свежие побеги засыхающее дерево.

Роман смутно помнит, как мальчишкой играл с Ниной в куклы, ходил на озеро собирать ракушки. И вот уже юношей он снова встретил ее. Это было в прошлом году, когда он после стольких лет разлуки в форме курсанта погранучилища приехал повидать мать. Немногие из сверстников помнили Романа, зато взрослые — все. И удивлялись:

— Смотри ты, какой молодец стал! А, бывало, гусаков боялся. Увидишь и орешь: «Ма-а-ма!» Тебя так и звали тогда: Ромка — гусиный неприятель.

Нина зашла к ним, Белозеровым, вечером. С насмешливым любопытством поглядывая на Романа, сказала матери:

— Одолжите ступку на вечер, соль потолочь.

Мать предложила девушке сесть, улыбнулась Роману:

— Твоя подружка. Помнишь?

Нина как будто снова познакомилась с другом своего детства, рассказала о смешных случаях из их дружбы и ушла. А на следующий день Роман был в библиотеке, где работала Нина. Делать в библиотеке было нечего, из читателей в нее до вечера никто не заглядывал, и они ушли на озеро. Купались и снова собирали ракушки... Глядя на Нину, Роман радостно удивлялся: из худой, большеротой девчонки выросла девушка сильная, ловкая и красивая. И что больше всего радовало и удивляло Романа — это непринужденность и ум Нины. Когда Роман заговорил с Ниной о

том, что ее родители живут как-то странно, несовременно, она ответила, плеская воду на туго обтянутую купальником высокую грудь:

— Я их не понимаю и понимать не хочу. Оставим это.

Целый год юноша и девушка переписывались, и в их письмах были просто дружба и просто рассуждения о настоящем и будущем. В каждом письме Нина обязательно писала: если не читал, то прочти вот эту или эту книжку и обязательно посмотри такую-то кинокартину. В следующий отпуск он ехал уже с той радостью, которая наполняет человека нетерпением встречи. Однако Нина его не встретила. От ее младшего братишки, рыжего и конопатого Генки, Роман узнал: Нина в области на каких-то курсах, обещала скоро приехать и ему, Генке, привезти резинового крокодила, который плавает.

Роман ждал приезда Нины каждый день и по нескольку раз проходил мимо дома Ветровых, незаметно поглядывая на окна, во двор. Но Нины не было.

Мать каждое утро напоминала ему о том, что в лесу сейчас самая благодать — спеют ягоды, грибов столько, что хоть лопатой греби. Однако Роман под всякими предлогами оставался дома. Ждал, скучал.

* * *

Роман снова завесил окна и прилег на кровать. Улыбаясь, он старался представить, как они теперь встретятся с Ниной, как она будет благодарить его. Он, конечно, будет уверять, что ничего особенного не сделал, и постарается даже виду не подать, как рад тому, что загорелся именно ее дом и рядом оказался он, а не кто-либо другой. И, безусловно, Нина будет ухаживать за ним, как за больным, но он и в этом деле проявит свою выдержку: ведь главное достоинство героя — не бахвалиться.

В комнате было тихо и жарко, будто топилась печь. Дремота пьянила, путала мысли, и Роман уснул. Ему казалось, что спал он очень мало, но когда проснулся, был уже вечер, и мать стояла над ним с встревоженным лицом. Он понял ее тревогу и сказал:

— Пожар тушил. Дом Ветровых чуть было не сгорел.

Мать присела рядом, сняла с головы платок и стала разглаживать его на коленях сухими и сильными руками. Она молчала, но по ее лицу, всегда спокойно усталому, Ро-

ман понял, что мать почему-то не одобрила его поступка. Он рассказал, как загорелись Ветровы, и добавил, что от них огонь мог перекинуться на соседей. Мать встала, повязала голову платком и сказала:

— Конечно, и соседи могли бы сгореть.— И принялась подметать пол, хотя еще утром Роман выдраил его, как пароходную палубу.— Только обгорел вот, отпуск весь пропадет, не отдохнешь.

Роман чувствовал, что мать говорит не то, что думает, казалось, она таила к Ветровым какую-то неприязнь, но не хотела рассказывать о ней. Вынуждать мать на откровение Роман не стал: в конце концов он сделал доброе дело.

Вместе они кормили гусей — гусака и гусыню с выводком. Но ни к какой другой работе по двору мать Романа не допускала, будто он и в самом деле стал больным. По пояс голый, растопырив руки, ходил он за матерью от колодца к грядкам с огурцами и смотрел, как она поливала их. У него были обожжены ладони, и он не мог даже крутить ворот, чтобы достать воды из колодца, это делала мать, ловко, сосредоточенно, привыкнув к нелегкому труду за много лет.

Мать! Она была когда-то молода и красива, и отец называл ее Аннушкой. Она любила наряжаться и петь песни. Когда в лесу наступала страдная пора — поспевали ягоды и грибы,— мать целыми днями пропадала там. И маленький Ромка был с нею. Какое это было чудесное время! В лесу тихо-тихо. И сумрачно. Прямые и тонкие лучи солнца, словно золотые нити, косо пронизывают его сверху донизу; пахнет смолой и сырой землей; где-то в глубине леса тосковала кукушка. Ромка ни разу не видел, какая она, но если спросить у нее, сколько лет ты будешь жить, она обязательно ответит.

— Ромашка!— звонко кричит мать.

Ромка бросает сухой березовый сучок, которым целился в надоедливо стрекочущую сороку, и вприпрыжку бежит на голос матери. Сорока стрекочет еще неистовее и летит вслед.

— Смотри-ка,— говорит мать, румяная, веселая, и указывает на куст вишни. Он так усыпан сочными ягодами, что, кажется, кто-то нарочно взял и вытряхнул на него целый мешок этих вкусных темно-красных шариков.

Теперь мать постарела. Нелегкая жизнь и труд выбелили ее когда-то русые волосы, по-осеннему блеклым и ти-

хим сделали прежде красивое лицо. Движения и походка ее стали смиренными, как уставшие после ветра озерные волны. Но по-прежнему мать несла свою аккуратно повязанную платком голову прямо, и прямо смотрела людям в глаза.

На село, как тень от дождевой тучи, наплыла вечерняя прохлада. По улице, встряхивая слежавшуюся за день горячую пыль, загудели машины, с ленивым, как зевота, мычанием пробрело стадо коров; деловито и громко гоготали возвращающиеся с озера гуси, а людские голоса как будто напоминали о том, что дневные заботы еще не окончены.

Роман прошел к изгороди, оглядел улицу из конца в конец и задержал взгляд на доме Ветровых. Подумал: за что же мать недолюбливает их? И поймал себя на мысли, что и он особенно не расположен к этой семье. Есть такие люди, в которых таится что-то непонятно отталкивающее. Одного их взгляда или слова достаточно для того, чтобы вызвать в человеке необъяснимое чувство неприязни.

Вечером, когда они собирались ужинать, в сенях послышались легкие, крадущиеся шаги. В дверь тихо, просительно постучали. Роман вскочил, виновато взглянул на мать и так, стоя, поспешно ответил:

— Войдите!

На порог ступила не Нина, а ее мать, полная, вялая женщина с белым, нездоровым лицом и, кажется, никогда не смеявшимися глазами.

— Добрый вечер,— вздохнув, сказала она и покачала головой в темном, под подбородком завязанном платке.— Ишь ты, как обгорел-то. Небось, теперь твои начальники накажут тебя за опоздание?

— Не за всякое опоздание наказывают,— ответил Роман и уткнулся в тарелку с борщом.

— Ну, дай бог,— Ветрова перекрестилась и опять вздохнула; хотя ей и предложили сесть, она продолжала стоять у порога, словно прилипнув к нему.— А мой послал за вами. Иди, говорит, зови Белозеровых в гости. Купил целый литр. Да за такую доброту, какую сделал нам Роман Константинович, и два литра не жалко. Ведь от какой беды спас!.. Значит, придете? Ну, будем ждать, ужинайте на здоровье,— и Ветрова исчезла в сумраке сеней.

Поужинали молча. Не дождавшись, когда мать заговорит о приглашении, Роман сказал:

— Может быть, сходим? Ждут же.

Мать убрала со стола, вытерла его и потом только ответила:

— Нет, сынок, не ждут.

Мать положила на стол руки, осмотрела их, выдубленные жарой и морозом, как жгутами обтянутые набухшими жилами, с крепкими, по-мужски узловатыми пальцами и, словно прочитав на этих свыкшихся с любым трудом руках ответ сыну, сказала:

— Звали потому, что знают: мы не придем.

— Зачем же они тогда звали?— Как ни сдерживался Роман, но вопрос этот задал требовательно и немного раздраженно. Чувствовал, что между ним и Ниной неприязнь матери к Ветровым становилась той преградой, которую нельзя так просто перешагнуть. Нет, между матерью и Ветровыми была не просто ссора. Между ними было что-то важное, чего он не знал.

Роман пожал плечами, сел и с горечью сказал:

— Ничего не понимаю!

Мать подняла на сына строгие глаза, с минуту молча смотрела на него и, словно благословляя его в первый нелегкий путь, сказала:

— Сынок, ты помнишь отца, помнишь, какой смертью он умер. Ты был тогда мальчонкой и легко проводил отца в могилу. Но нелегко было мне, я многое понимала и видела, хотя и осталась неграмотной.

Вокруг электрической лампочки, висевшей над столом, отчаянно кружились мотыльки, словно опьяненные ослепительно ярким светом. Было слышно, как они бились о горячее стекло, обжегшись, срывались и снова кружились. И их трепещущие тени метались на белом глянце скатерти, как маленькие беспокойные призраки. Мать встала, осторожно переловила мотыльков и выпустила их в окно. Поплотнее задернула занавески.

— Тебя еще не было на свете, когда село наше взбаламутили кулаки, восстание подняли. Отец тогда воевал в Красной Армии против Колчака. Боже мой, сынок, сколько пришлось пережить! Как-то слышу ночью: дон-дон!— Набат. Пожар, думаю, и выбежала за ворота. А по улице скачут конные, шашками машут. Двое подскакали ко мне. Один тычет мне плеткой в лицо и спрашивает другого:

— У этой мужик в красных?

Другой отвечает:

— У нее самой, стервы!

Иссекли они меня плетками чуть не до смерти и к церк-

ви ускакали. Заползла я во двор, кое-как закрыла ворота, домишко и — огородами — в камыши, а потом в лес, к своему деду на заимку. Там и жила целых два месяца, как богом проклятая, пока красные восстание ие разгромили.

Все напряглось в Романе, он так сжал кулаки, что на ладонях лопнули волдыри. Не чувствуя боли, горячим шепотом спросил:

— Кто тебя бил? Ветров?..

— Нет,— спокойно ответила мать.

Роман проглотил вздох облегчения, прикусил губу, заглушая жгучую боль в ладонях.

— Били меня Яшка Рыжий и Клим Рваный. Прозвища убивцы носили такие. Одного в бою красные убили, другого потом в селе расстреляли. В подполе его любушки нашли... Ну, вернулась я домой. Ничего, все на месте. За ворота выходить боюсь, стреляют. Потом уж узнала: расстреливали тех, у кого оружие находили. Пришли и ко мне. Трое. В шлемах с красными звездами, с шашками и наганами. Спрашивают:

— Где муж?

А я молчу и от страха трясусь.

— Говори, куда он спрятался?

Я собралась с силами и бормочу:

— Воюет он против Колчака...

— Так чего ж ты,— говорят,— боишься? Раз твой мужик наш, значит, и ты наша! .

Ушли и пригоршню сахара на столе оставили.

С месяц в селе было тихо, как на могилках, ночами без огня сидели. А могилок после восстания вдвое стало больше. Много там прибавилось вечиых жильцов. Иных, прости господи, не жалко было, а других — жалко, голь ведь перекатная, увязалась за кулаками по глупости. И сложили головы ни за что ни про что.

Ушли красные, когда порядок навели в селе. Ожило оно, однако кулацкие корни еще остались.

Когда вернулся из Красной Армии твой отец, в селе снова забродила смута. Тогда-то и стал захаживать к отцу в гости его дружок Севостьян Ветров. Числился он в середняках, в восстании участвовал, но как-то ушел от наказания. Сперва они с отцом при мне выпивали и разговоры вели. А потом — у Севостьяна. Как-то приходит от него отец, злой, лицо белое, на скулах желваки. Говорит мне:

— Понимаешь, Аннушка, они опять задумали восста-

ние. Еще мало им, живодерам, людской крови. Завтра же в ЧК пойду! Открою власти глаза на это змеиное гнездо.

Но назавтра он в ЧК не пошел, а отправился в лес. Кто-то ему сказал, что видел там тетеревиный выводок. Из лесу уж отец не вернулся.

А через неделю, кажется, всю головку нового восстания арестовали и расстреляли.

Севостьян Ветров снова остался в стороне.

Мать замолчала, с минуту неподвижно смотрела перед собой, словно вспоминая: чего же она еще не поведала сыну? Но ничего больше не сказала и ушла в другую комнату, где была ее кровать.

Роман встал, закурил и вышел на крыльцо. Где-то рядом заливисто выговаривала польку-бабочку гармошка, звонкий девичий голос рассказывал о том, как «летели утки и два гуся», у клуба динамик выплескивал неразборчивые звуки какого-то кино, а во дворе Ветровых визжал от боли мальчишка. Роман подумал, что это, вероятно, плачет Генка, которого секут за поджог. Мысль эта безучастно коснулась его внимания — и оно вновь отдалось осмысливанию рассказанного матерью. Он понимал, что в убийстве отца повинен Ветров, что, может быть, это страшное дело он сделал сам, чтобы не угодить в ЧК вместе с главарями вновь затеваемого мятежа, а потом предал и их, поняв, в какую трясину может попасть вместе с ними.

Роман знал давно, что убийцу отца так и не нашли, и убийство «списали» на неизвестного бандита — с отцом не оказалось дорогого заграничного ружья, полученного в приз за лихую джигитовку в эскадроне красной конницы.

— Ты бы шел спать, сынок...

Роман вымученно бросил:

— Мама, почему ты не рассказала людям правду тогда?

Мать вздохнула, но ответила спокойно:

— Я тогда была моложе тебя, а время бушевало такое, что правде моей могли не поверить и меня же осудить: я ведь дочь попа, а Ветров ходил в больших начальниках. Портфель носил и кожаную фуражку — не подступись! Раскулачиванием руководил и нас с тобой мог бы к кулакам причислить. И он бы сотворил это, не покинь мы с тобой вовремя станицу.

Роман попросил мать постелить ему во дворе и долго не мог уснуть, глядя в звездную россыпь неба и не видя ни звезд, ни дегтярно-черного полога за ними.

Ему шел двадцать первый год, в двадцать два года он станет офицером-пограничником. Он знал свое настоящее, видел будущее, мечтал о подвигах. Он гордился своим прошлым, трудным, но не сломившим его. Одиннадцати лет он убежал из дому с таким же жаждущим приключений сверстником. Но романтика бродяжничества длилась недолго. Роман попал в детский дом. Шли годы, он учился и жить, и работать, и по мере того как взрослел все больше и больше думал о матери, которая осталась на глухой станции только что построенного Турксиба.

Из детского дома Роман ушел в погранучилище, и тоска по матери, боль от причиненной ей обиды взяли свое. В первый же отпуск он вернулся на родину, которую помнил лучше, чем эту железнодорожную станцию в выжженной солнцем казахской степи. И он не ошибся: мать вернулась в родное село, как птица к своему гнездовью.

Роман когда-то считал обычными те мытарства, которые они пережили с матерью, покинув родину. Иногда жили впроголодь. Ему, мальчишке, приходилось собирать колоски на убранных полях и перекапывать чужие огороды в поисках дюжины забытых картофелин. Он не помнил, чтобы износил в детстве хоть одну пару ботинок или приличные штаны.

Мать жаловалась тогда на судьбу-злодейку. И теперь эта судьба приняла облик человека — Севостьяна Ветрова. Он убил или помог убить его отца, он выжил из родных мест мать, молодую и неопытную в жизни, привыкшую к мужскому плечу. Он теперь «запаршивел», как говорит мать, но ему не пришлось скитаться по чужим углам.

Роман думал с неприязнью о Ветрове, а перед глазами неотступно стояла Нина. Роман ждал ее.

Разбитый мучительными думами, уже забыв об ожогах, почти потеряв ощущение боли, Роман забылся в тревожном сне только перед рассветом и, кажется, сразу же был разбужен матерью. На этот раз он сам напросился с ней на птицеферму. Мать попробовала его отговорить, но он стоял на своем. Сходил в больницу и попросил забинтовать ожоги, чтобы можно было надеть хотя бы майку. Они шли по селу, мать и сын. Их встречали и провожали приветственными улыбками и словами. Роман чувствовал в приветствиях нотки почтения к себе, но не радовался этому. Ему казалось, что они с матерью жалки перед людьми, жалки потому, что когда-то позволили себя оскорбить и молча снесли унижение.

Их догнал на телеге Севостьян Ветров. Остановив лошадь, он сказал, как из-под кнута:

— Чего же не пришли? Мы ждали...

Сойдя с дороги и не сбавляя шага, мать ответила:

— Некогда было.

— А Роман что ж?

Роман не ответил, внимательно разглядывая пожарно-огненный восход.

— Больной он,— сказала мать.

Ветров промолчал, стегнул лошадь и покатил дальше, согнувшись так, что его затасканная фуражка, казалось, легла прямо на плечи. Роман смотрел ему вслед, и презрительная усмешка набежала на его лицо, сорвалась с губ словами:

— Беднее его, по-моему, был один Христос. На рубахе заплата, как на мешке.

— Сам себя запускает для видимости, но заплатами теперь козыриться не время,— заметила мать и улыбнулась прохладному розовому утру, далекому лесу, густым, бесконечным частоколом отгоражнвающему горизонт.— Красота-то какая!.. Так бы и обнял все.

— Вместе с Ветровым?— усмехнулся Роман.

— Иногда с охапкой пахучего сена захватываещь н змею, но сено от этого хуже не становится.

Птицеферма находилась неподалеку от села, на берегу озера, но Роман только теперь понял, почему мать туда н обратно ходнла пешком. Эта прогулка была для нее отдыхом и временем для тех раздумий, которые омолаживают душу, как здоровый сон. Однако как нн красиво было утро, как ни манилн к себе озеро, лес н золотящиеся зреющнми хлебами дали, Роман уже ничем не восхищался и ничему не радовался. Казалось, помимо его воли все окружающее потеряло смысл своего существования, и он думал только об одном: скорее уехать, очутнться снова среди друзей-курсантов, в прнвычной военной обстановке. Бесцельно бродил он по птицеферме, чуть не наступая на кур н уток, равнодушно слушал, как горланили петухи, и морщился, оглушенный утнным гомоном на берегу.

Сторож фермы, старый Федотыч, предложил ему поохотиться с берданкой за вороватыми воронами и по-разбойннчьн нахальными коршунамн. Он отмахнулся: руки болят. Старик пригласил его в лес грибов пособирать, он отказался по этой же прнчине.

— Хошь, Ромка, я тебе покажу место, где прятались ка-

заки, когда восстанию погром устроили?— пустил в ход еще один козырь Федотыч.

Но и это не заинтересовало Романа, и вечером, когда собирались домой, он сказал матери:

— Я, наверное, завтра уеду. В нашем госпитале меня быстрее вылечат.

Мать не обиделась и не удивилась. Зато ее подружка, вторая птичница тетя Даша, маленькая, толстенькая и беспокойная, как сорока, всплеснула пухлыми руками, искренне изумилась.

— Уже? Вот это погостил, вот это обрадовал мать! Недели не прожил в родном доме — и бежать.

Оглядывая небо и почесывая волосатую шею о конец ствола берданки, Федотыч солидно поддержал своего молодого друга:

— Солдат, бабы, не волен и болеть без приказания. Покажись начальству, доложи, как и что. Разрешит оно — тогда болей. А вы как думали?..

Председатель колхоза дал Роману свою пролетку, чтобы доехать до ближайшей железнодорожной станции, фельдшер, которая начала лечить его, дала ему на дорогу бинтов и какой-то не слишком приятной по запаху мази, мать тайком перекрестила сына, проглотила слезы, и Федотыч молодецки гикнул на вороных.

Ребятишки с криком долго бежали за пролеткой, и вместе с ними — Генка Ветров. Роман несколько раз оборачивался, смотрел на него, но сдержался и не послал Нине прощального привета.

Через три дня, уже в вагоне, Роман услышал неожиданную, все приглушившую весть: фашистская Германия напала на Советский Союз.

В полночь вышли на берег Ладожского озера. Отстучав не одну сотню километров по каменно-твердой земле, солдатские ноги ступали теперь по мягкому, как пыль, песку устало и вразнобой: не было слышно, как идет сосед, вся колонна и каждый шел по-своему, только соблюдая строй и придерживаясь локтя соседа.

Ночь была темная, безлунная, и озера не было видно. Только слышался встревоженный шум волн рядом и чувствовался запах воды — солоноватый, рыбий.

Потом колонна остановилась, командиров взводов вызвали к командиру роты. Роман приказал своему заместите-

лю сержанту Лошакову не курить и не расходиться и пошел в голову колонны, торопливо дожевывая сухарь.

Командир роты старший лейтенант Березин, глотая навалившуюся зевоту, сказал, что можно ужинать и располагаться на сон.

— Отдыхать будем. Тут,— лейтенант указал рукой в сторону,— есть землянки. Без особой нужды из них не вылазить. Все.

Роман возвратился к взводу и вместе с Лошаковым отыскал землянки, вернее — ямы в песке, прикрытые сверху кое-как и чем попало. В эти укрытия от вражеских самолетов-разведчиков можно было влезать только на четвереньках и так же выбираться обратно. Самую тесную землянку Роман оставил для себя и приказал своему связному навести в ней порядок.

Через полчаса батальон словно провалился в песок — затих. Шумели и плескались в густой тьме ночи невидимые сильные волны, со всех сторон далеко и глухо бухали орудия. Легкий ветерок, набегающий с озера, напоминал о том, что лето давно кончилось и пришло время осенних холодов. Роман надел шинель, которую до этого нес свернутой то на плече, то на руках, и пошел на шум волн.

Вода казалась черной и наплывала из самой ночи. Высокие волны жадно вылизывали песок и, словно отчаявшись насытиться, с гневным рокотом уползали обратно. Провалившись по щиколотки в мокрый песок, Роман схватил две пригоршни холодной воды с гребня набежавшей волны и плеснул их на лицо, подождал с минуту и так же вымыл руки. Утершись полой шинели, постоял, наслаждаясь прохладой, сполоснул ноги в упругой волне и вышел на сухое место. Натягивая сапоги, подумал: «Днем накупаюсь досыта, вряд ли будет еще такая возможность».

Но купаться не пришлось. Из тяжелых и грязных туч на другой день сочился дождь, озеро как будто кипело, и его необъятная холодная ширь отдавала ознобом и скукой. Накинув на плечи шинель, Роман обходил с Лошаковым землянки, справлялся о настроении солдат и возвращался обратно. Втиснувшись в землянку, грыз сухари, ел мясные консервы и пил мутную солоноватую воду. Все это — из запасов у связного Абдуллы, пожилого, удивительно спокойного казаха. У Абдуллы в тылу осталась большая семья, сам он не был настолько здоров, чтобы легко нести тяжесть солдатской жизни, однако никогда не жаловался и не роптал.

— Как-нибудь, товарищ лейтенант!— неизменно отвечал он на все вопросы Романа о здоровье, настроении и способности шагать дальше.

Сержант Лошаков годился Роману в отцы. Он воевал с немцами еще в полках генерала Брусилова, потом с красными гнал адмирала Колчака на Дальний Восток, но только иногда, словно между прочим, подсказывал он Роману ту мысль, которая была нужна в этот момент.

Как-то Роман признался своему заместителю, что то обстоятельство, что он моложе своих солдат, мучает его. И Лошаков ответил просто и деловито:

— Солдат должен всегда понимать, что он сумеет сделать все, что ни прикажет командир. Даже черта поймать у себя за пазухой.

У выхода из землянки Абдулла развел огонь и задумал вскипятить чай. Но дым почему-то оставался внутри землянки, будто его кто-то специально вдувал сюда. Все трое махали пилотками, полами шинелей, но дым, как пыль в безветрие, кружился на месте, терзал глаза и легкие.

— И на кой черт тебе этот чай?— слезливо промычал Лошаков.— Уморишь ведь!..

— Ладно, пусть кипятит,— сказал Роман и, попросив Абдуллу снять на минуту котелок, шагнул через чадящие головешки в тонкие, но плотные струи дождя. Лошаков последовал за ним.

— Как Абдулла любит чай,— сказал он, поднимая воротник шинели.— И чего он в нем находит?

Роман подставил лицо дождю, вытер его подкладкой пилотки и ответил:

— Кто за чем, а казах блаженствует за чаем. Для Абдуллы этот чай, может быть, последний. Слышишь?— и указал взмахом головы в ту сторону, где особенно часто и сильно ухали орудия.— Там будет не до чая.

Лошаков послушал и определенно заключил:

— Тяжелые лупят, чтоб фрицы не скучали.

Роман видел все землянки, в которых разместился его взвод. В двух было так тихо, что они казались пустыми, из третьей был слышен завидный смех. Лошаков, вероятно, понял мысли Романа и сказал:

— Пойдем, лейтенант, послушаем, как Бубнов врет.

Они пошли к землянке, присели у входа. Смех оборвался, и к выходу на четвереньках заторопился отделенный. Роман махнул рукой:

— Продолжайте. И одолжите табаку.

В землянке засуетились, и к Роману протянулось несколько рук с кисетами.

Будто не замечая легкой усмешки Лошакова (ври, мол, что куришь, а я знаю, что ты просто хочешь показаться взрослее), Роман свернул папироску и закурил. Подержал дым во рту и выдул его в сторону, чуть приоткрыв губы, как это делают опытные курильщики.

— Так вот, идут два кума по городу,— продолжал невидимый рассказчик степенно и серьезно, будто сообщая что-то важное.— Глазеют на все, как бараны на новые ворота. Подошли к ресторану, заглянули в окна: бог мой, все пьют, едят и денег не платят!

«Вот где жизнь! Зайдем?»— сказал один кум.— «Зайдем!— сказал другой.— Хоть раз в жизни поедим досыта и задарма». Зашли. Подлетел к ним официант: «Чего прикажете?»—«Все, что есть!»— ответили кумовья. Нанес им официант всякой всячины. Пьют, едят мужики и слушают музыку. Ну, наелись, напились. Подходит официант — гони монету! Кумовья рты поразевали. Один говорит: «Так разве у вас за гроши?» А другой: «Нема у нас ничего...»

Официант понял, в чем дело, подозвал вышибалу. Тот содрал с кумов кожухи и дал им коленом под зад. Вылетели они на улицу, чешут затылки. «А я, кум, чул!»— сказал один дядька. «Чего ты чул?»—«Да то, что с нас кожухи сдерут. Слышал, как тот, что тонко играет, так и пел: «Ч-и-и-м платить будешь?.. Ч-и-и-м платить будешь?»— Это он про скрипку. «А тот, что толсто, так и бубнит: «Кожухами, кожухами!..»— Это он, значит, про контрабас...

Разноголосый хохот встряхнул землянку. Прижавшись спиной к глинистой стенке входа, Роман смеялся так, что совсем забыл про шинель, спину которой до этого старался не выпачкать. Степенно похохатывал Лошаков, глядя на папироску, по привычке зажатую в кулаке.

— Вот где веселье!— услышал Роман над головой и вскочил вслед за Лошаковым.

Командир роты, старший лейтенант Березин, улыбаясь, отмахнулся от рапорта и сказал:

— Пойдем на пристань, комбат вызывает. И ты, сержант... А ребята пусть хохочут...

Они шли по мокрому, упругому песку вдоль берега, впереди — плотный, широкоплечий Березин, старый кадровик, уже побывавший на фронте и полежавший в госпитале с простреленным бицепсом правой руки, за ним, отстав на

шаг,— Роман с Лошаковым. Командир роты остановился и, когда идущие сзади поровнялись с ним, сказал:

— Хорошо бы такую погодку на ночь...— и замолчал, косясь на серую, пузырящуюся водяную равнину, по которой в предстоящую ночь поплывет его рота на тот берег Ладоги, к Ленинграду. А враг близко, эти места достает его артиллерия и в погожие дни хищно просматриваются его самолетами.

Когда людей связывает одно большое дело, они даже в молчании понимают друг друга. И недосказанную старшим лейтенантом мысль додумывали Роман с Лошаковым каждый по-своему,— при переправе все может быть... А как переправятся — фронт. И там может всякое случиться. И это «всякое»— опасности, исхода которых никогда не угадаешь.

На пристани были недолго. Моряк-командир с пистолетом на длинных ремнях рассказал, где остановится пароход, где будут лежать сходни и что при погрузке и когда поплывут, главное — порядок. Командир батальона сказал командирам рот, что грузиться будут поротно: за первой — вторая и так далее. А роты — поотделенно.

Когда возвращались, старший лейтенант признался Роману и Лошакову:

— Зверски болит раненая рука. Никогда не верил, что перед непогодой и в непогоду могут болеть кости. Теперь вот убедился.

— У меня бабка всегда, бывало, погоду предсказывала,— сказал Лошаков и, словно извиняясь, покашлял в кулак.

Старший лейтенант улыбнулся:

— В сороковом наша дивизия была на Украине. Я квартировал у одного древнего деда украинца. Так тот по поведению своей хавроньи угадывал погоду,— и не ошибался. Начинает голосить свинья, дед сообщает: быть дождю или снегу.

Роман громко рассмеялся. Ему захотелось самому рассказать что-нибудь смешное, подходящее для такой компании, но ничего интересного вспомнить он не мог, может быть, оттого, что он как-то невольно робел перед командиром роты, человеком уже немолодым и бывалым, вжившимся в солдатскую службу, как в обычную человеческую профессию. Командир роты никогда не кричал на своих подчиненных, коротко и четко отдавая приказания. Лицо у Березина было сухое, а светло-серые, почти белесые гла-

за — строги и холодны. Но при близком знакомстве этот офицер невольно прочно располагал к себе людей.

Роман, как и все юнцы-офицеры, втайне хотел походить на своего командира.

В обед снова ели мясные консервы с сухарями и пили чай, вскипяченный Абдуллой и заваренный им запасенным кстати смородиновым листом. Если полмесяца назад, когда были еще в тылу, солдаты жили впроголодь, то теперь в сухарях и консервах недостатка не было. Прошлой ночью на станции выгрузки их эшелон не остановился, его продвинули за реку, к лесу, разгрузили и возвратили на станцию пустым. Тут-то и пожаловало тринадцать «юнкерсов». Почти половина вагонов была разнесена в щепы и разбросана во все стороны, словно это были не тяжелые пульманы, а спичечные коробки. Вывороченные со шпалами рельсы, дико погнутые, скрученные в замысловатые фигуры, напоминали куски обыкновенной проволоки. Все это увидел Роман, придя со своим взводом за продуктами в вагон-каптерку. У вагона взрывной волной вынесло бока, и содержимое — кули с сухарями и ящики с консервами — беспорядочно валялось по обе стороны от бывшего эшелона. Ящики охранял бородатый солдат, взобравшийся на крышу уцелевшего вагона.

— Берите, сколько сможете унести!— крикнул он, когда Роман сказал, кто они и зачем пришли.

Поднимаясь на носки, Бубнов серьезно спросил солдата:

— Дядя, а дядя, ты не знаешь, куда фрицы забросили махорку?

Солдат, уразумев шутку, так же серьезно бросил:

— Это ты у них спроси, они вот-вот явятся опять.

Солдат, вероятно, пошутил, но Роман поспешил увести взвод. Солдаты возвращались резво, хотя и были нагружены, по словам Бубнова, не меньше азиатских ослов.

После обеда пришел моряк с красной звездочкой на рукаве черной тужурки и передал Роману последний номер армейской газеты. Политрука в роте не было, и взводные взяли на себя его обязанности. Сводка Совинформбюро не радовала, немцы рвались к Ленинграду; и на других фронтах наши отступали. Солдаты молча выслушали Романа. Всем было ясно, что война оказалась не такой простой, как научили думать о ней; она только начиналась, и это начало было тяжелым, как сопротивление после удара из-за угла.

Дождь не перестал к ночи, и ночь наступила незаметно.

будто подкралась и вдруг накрыла все вокруг своей непроглядной теменью.

Построились. Роман прошел вдоль взвода, прислушиваясь к разговорам солдат. Они переговаривались тихо, спокойно, ругали дождь и бесконечную дорогу; то и дело слышалось: «Скорее бы уж до места...» Все свыклись с мыслью, что на войне всякое бывает, а поэтому и не стоит гадать, что случится.

Роман изредка поглядывал на бесконечную черноту водяной пустыни, подумывал: он-то плавать умеет, а другие? Но мысль эта появилась и тут же исчезла, словно тень от случайно набежавшей тучи.

По упруго вибрирующим, как стальные пластины, сходням Роман легко вбежал на палубу (помкомвзвода оставался замыкающим) и огляделся.

— Туда!— сказал матрос, вероятно, специально поставленный, и указал на черный квадрат спуска в трюм, взглянув на который, Роман вспомнил подпол в материнском доме, куда любил лазать в жаркие дни за холодным молоком.

На этом небольшом пароходике, как на автобусе, когда-то, вероятно, перевозили пассажиров. Внутри небольшого помещения, куда спустился Роман по крутой лесенке, стояли скамейки с изогнутыми спинками, вдоль стен свисали сетки для багажа. Здесь мог разместиться только один взвод, и Роман подумал, что другие два взвода роты, наверно, расположатся в других таких же помещениях, но мест хватило всем, и солдаты, очутившись вместе, весело балагурили, курили. Тусклый синий свет электрической лампочки навевал дремоту, и как ни боролся с ней Роман, он все-таки задремал, привалившись головой к теплому плечу Лошакова. Сержант сидел не шевелясь. Роман понимал, что спать на глазах бодрствующих солдат не надо бы, однако легко отдался пьянящей истоме, сквозь которую слышал шаги матросов на палубе, какие-то непонятные команды. Потом пароходик вздрогнул и боком начал отваливать от пристани.

Роман открыл глаза, встряхнул головой. Солдаты притихли, некоторые жались друг к другу, устраиваясь вздремнуть.

— Поспите,— сказал Лошаков,— а потом я...

— Да-да! Минут через двадцать разбудите меня,— сказал Роман, стараясь придать своему голосу больше бодрости, и тут же по-детски быстро опять отдался сну.

Ему показалось, что он не спал и минуты, когда его разбудил сильный грохот. Вскочив, он удивленно взглянул на потолок, за которым глухо отстукивал длинные очереди пулемет и скороговоркой ахала легкая автоматическая пушка. Пароходик накренился, и солдаты, налетая друг на друга, побежали в сторону крена.

— Тонем!— крикнул кто-то страшно, по-бабьи визгливо.

— Молчать!— почему-то обозленный этим криком, во весь голос приказал Роман и, вцепившись в сетку полки над головой, удержался на месте.

— Без паники по одному — наверх!— громко, но спокойно крикнули в открытый трюм.

Роман выскочил на палубу последним. И на мгновение остановился, ослепленный необычайно ярким светом. Он лился сверху, словно пылало само небо. Роман вскинул голову и увидел, как четыре больших солнечно-ярких шара чуть заметно покачивались над пароходиком. «Ракеты!»— догадался он и огляделся. Только теперь он понял, что случилось: носа у пароходика не было, его как будто срубили огромным топором. И из невидимой пробоины, будто кровь, выбрасывались все выше и выше горячие всполохи огня. Пароходик стоял на месте и кренился в сторону обрубленного носа.

За борт, в холодно поблескивающую воду, спускали шлюпки, бросали какие-то большие деревянные ящики и спасательные круги.

Как теперь хотелось Роману, чтобы командир роты был рядом! Но даже голоса его не было слышно.

Низко, скрываясь за своими «висячими» ракетами, кружился вражеский самолет, поливая мишень пулеметным огнем. По нему с пароходика били из зенитной пушки и пулемета, но безрезультатно: он был невидим, как жужжащая муха в темной комнате.

Неумеющих плавать спускали в шлюпки, кто умел — сам бросался за борт.

— Спокойно!.. Не толпиться и не кричать!— говорил Роман тем, кто ждал очереди на шлюпку.

Весельчак Бубнов разделся до кальсон и со словами: «Эх, мама, моя мама!»— бросился головой вниз в тревожно покачивающуюся воду.

Связной Абдулла топтался около Романа, держа в руках туго набитый вещмешок, и беспомощно моргал круглыми запавшими глазками. Роман взял у него мешок,

швырнул за борт и толкнул его самого к матросу, командовавшему посадкой в шлюпку.

— Пустите старика!..

«А ведь он и в самом деле старик»,— как-то невольно подумал Роман, удивившись тому, как сразу осунулось и состарилось лицо этого человека.

Стонали и звали на помощь раненые. Сержант Лошаков со спасательным кругом под мышкой метался по палубе, отыскивая растерявшихся.

Пароходик пустел и быстро погружался. Огонь и вода, борясь друг с другом, упорно топили его. На нем осталась только его малочисленная команда, а за бортом разоренным муравейником кишели те, кто покинул его.

Роман ничем не мог помочь своим солдатам, как и командиры двух других взводов. И ему пришлось только следить за порядком, подчиняясь матросам. Он поглядел за борт: ни одной свободной доски, ни одного спасательного круга. И не пожалел об этом, только подумал: «Где же командир роты?»

— Эй, пехота!— закричал в рупор с борта матрос в порванной тельняшке и с растрепанными волосами.— Держись, скоро помощь подойдет.

Роман быстро снял верхнюю одежду, сделал несколько резких движений руками, чтобы согреться, и прыгнул за борт. Холодная вода на мгновение парализовала его. Почти инстинктивно он вырвался наверх, огляделся и сильными бросками поплыл от парохода к людям — к своим солдатам. Послышался рев моторов пикирующего самолета. Роман опять нырнул и постарался пробыть под водой как можно дольше. Вынырнул и не увидел и тех, кто был в ближайшей шлюпке, и самую шлюпку, зато на волнах колыхалось много свободных досок.

Погасла одна ракета, вторая, но две других продолжали светить, и самолет снова заходил на цель, и по нему, невидимому, одинокий смельчак с тонущего пароходика бил из пулемета.

Несколько раз Роману приходилось укрываться от смерти под водой, и когда ему казалось, что этому медленному отупению от холода не будет конца, вдруг как-то все кончилось: не стало яркого голубоватого света ракет, шлюпок, пароходика. Остались только черная вода, такая же беспредельно черная холодная ночь и крики о помощи. Стуча от холода зубами, он поплыл на эти зовущие крики. И ругал пострадавших такими словами, которых раньше даже

не хранил в памяти. Кричал людской страх, и его можно было остановить только угрожающим окриком или до жестокости решительным действием.

Роман наткнулся на шлюпку, загруженную так, что, возьмись он за борт рукой, она пошла бы ко дну. Чувствуя настороженные взгляды солдат, Роман говорил деланно весело, борясь с дрожью:

— Не унывать, друзья! Ко всему надо привыкать,— и плыл дальше, тупея от обжигающего холода.

«В такой воде долго не продержишься, окоченеешь»,— подумал он, бросая тело сильными толчками рук и ног вперед, в надежде встретить то, что поможет хоть немного обогреться, отдохнуть. Он почти стукнулся головой о вторую шлюпку, тоже перегруженную. Но не сказал обычных ободряющих слов. В шлюпке кто-то жалобно просил:

— Воды, горит все...

— Куда?— спросил Роман.

И из шлюпки тихо, безголосо ответили:

— В живот.

— Пить много не давайте. Мочите голову и губы, — посоветовал Роман и бросил солдатам вдруг радостью набежавшее решение:

— Держитесь, а я к берегу поплыву... За помощью!..

Роман не знал, в какую сторону плыть и сумеет ли он доплыть до берега, к своим, но мысль, что люди будут ждать его и надеяться на помощь, влекла его вперед. Сразу как-то притупилось чувство холода и усталости. Он поднял голову над водой и прислушался. Там, в непроглядной и бесконечной тьме, будто били деревянными молотами в днища пустых бочек — это стреляли пушки. Но чьи? И Роман уверенно решил — наши. И поплыл к этим далеким, теперь уже не пугающим звукам.

В критические или просто тяжелые минуты жизни человек почему-то вспоминает все дороги, по которым ему раньше пришлось пройти.

Горечью отозвалось в душе Романа рассказанное матерью перед его отъездом. Старик Ветров. Нет, он еще не старик. Такие люди старятся медленно, вероятно, потому, что умеют приспосабливаться к жизни всегда и везде... Конечно, он убил его отца, но попробуй докажи, что сделал это он... И Нина рядом с ним, этим непонятно чем живущим человеком... И почему он думает о ней в этой бескрайней ледяной воде? Может быть, он полюбил ее, дочь убийцы своего отца?.. Нет, не надо никакой любви!.. Только поче-

му же так хочется, чтобы Нина не носила фамилию Ветровых и не жила в этом темном доме, который он спас от огня?..

Несколько раз Роман набирал полную грудь воздуха и, вытянувшись, отдыхал. Но холод не давал покоя.

Отдохнув какую-то минуту, Роман снова спешил вперед. И думал о прошлом. Он сбежал из дому, не повидавшись с Ниной. Думал о ней и не написал ей ни одного письма. И не напишет... Нет... Писать ей — значит, простить ее отца... О, как мучительно ломит тело. И голова наливается необоримой тяжестью... Хочется спать... Может, уснуть?

Ночь, смоляно-черная вода... Где берег?.. А плыть надо, люди ждут...

Роман был неплохим пловцом, но борьба с ознобом, налившим тело свинцово-тяжелым льдом, отнимала больше сил, чем само плавание. Чтобы хоть немного согреться, ему приходилось энергично двигать руками, ногами и совсем не отдыхать.

Он уже не прислушивался и не вглядывался в ночь. Он просто плыл, плыл, потому что нужно это было и ему и тем, кто его ждал.

Им владела только одна мысль: вперед. Он уже не чувствовал ни своих движений, ни своего тела.

Обессилевшие мысли вдруг собрались и выбросились криком: «Мама!» — и яркой вспышкой, будто молнией, осветили почему-то лицо Нины Ветровой...

Неподатливые, глубоко затонувшие ноги коснулись чего-то. Дно... Глотая вместо воздуха воду, Роман все-таки двигался вперед... Только вперед. Ползком...

Очнулся Роман от рвоты, которая судорожно корежила все его тело. Вода толчками выбрасывалась изо рта, и не было сил остановить ее...

Покачиваясь от дурманящей усталости, Роман поднялся на ноги и, спотыкаясь и падая, поспешил уйти подальше от ненавистной холодной воды. А она, словно жалея о неподатливой жертве, гналась за ним гневно вскипающими волнами.

Роман не знал, куда шел. Кончился берег, перед ним темной стеной встали кусты каких-то колючих растений. Он долго продирался сквозь них, с радостью чувствуя, что согревается и силы возвращаются к нему.

Тишина, легкая, необыкновенно приятная, клонила ко сну, и Роман подумал, что, вероятно, скоро рассвет и в эту

пору отдыхают немцы и наши. Шел он осторожно, весь отдавшись вниманию. Думал: хорошо бы наткнуться на стог сена, зарыться в него и отоспаться. Но память видела тех, кто остался там, среди черных, по-чужому неприветливых волн. Они ждали его, эти усталые, беспомощные в тяжелом несчастье люди. И он шел, не зная куда, но зная зачем.

Кончились кусты, и Роман вышел на поляну. Постоял и осторожно, ступая на пальцы, двинулся по краю ее. Поляна была обкошена — подошвы ног щекотала мягкая стерня. Кто косил здесь?..

Огромной кочкой наплыл из темноты стог. Роман прислушался, тихо и бездыханно подкрался к нему. Стог оказался большим шалашом. И странно, в него была вделана дверь, как будто, фанерная. Ее контуры вычерчивались бледными, почти невидимыми линиями изнутри просачивающегося света. Вероятно, в шалаше горела свеча. Роман осторожно припал к земле. Внимание сосредоточилось на мысли: кто в шалаше? Рука его коснулась чего-то гладкого и холодного. Металл. Роман ощупал гильзу от артиллерийского снаряда. Из нее пахло недавним выстрелом, и внутри, кажется, хранилось даже тепло взрыва. Значит, в шалаше замаскировано орудие? Чье? В шалаше кто-то шумно вздохнул и сонно проговорил:

— Эх-хе-хе!

Роман встал, прошел к двери и толкнул ее. Она оказалась закрытой. Роман плечом, от нетерпения забыв о предосторожности, уперся в дверь. Она с визгливым скрипом подалась. Испуганно затрепетал желтый язычок коптилки, выхватив из мрака круглый бок орудийного ствола.

— Стой!— вскочив, ошалело закричала темная фигура и щелкнула затвором автомата.— Руки!..

— Свои,— сказал Роман, почти машинально подумав: «Часовой на посту спал».

Интуитивно Роман почувствовал, что перепуганный его неожиданным появлением часовой выстрелит. Мгновенно присев, он бросился под ноги часовому. Над головой запоздало протарахтела автоматная очередь.

— Спал, подлец!— бросил Роман жалко поникшему солдату.— Надень пилотку!

Снаружи послышался шум — к шалашу приближались.

— Возьми,— сказал Роман.

Он сунул автомат часовому и поднял руки.

Пучок света карманного фонарика уперся в глаза Роману.

— Кто?

— Нас потопили...

В теплом, хорошо освещенном блиндаже младший лейтенант закурил и оглядел Романа насмешливо-пытливым взглядом.

— Значит, свой?

— Я лейтенант!.. Прошу разговаривать повежливее! Вызовите ближайшую пристань...

Младший лейтенант курил и думал. Стволы двух автоматов холодом смертельного острия упирались в бока Роману. Он стоял раздетый, в одних мокрых кальсонах, и ждал, какое решение примет младший лейтенант. Тот медлил.

— А в какой стороне пристань?— спросил младший лейтенант, глядя то на огонек своей папиросы, то на Романа.

— Не знаю.

— А каким образом вы попали в блиндаж?

— Довольно допросов!

Минут через пять младший лейтенант дозвонился до «Краба» и рассказал о Романе. Выслушал ответ и передал трубку связисту.

— К месту потопления вышли спасательные катера,— сказал он и встал. Виновато улыбнувшись, добавил:— Извини, лейтенант, служба... А шпионов здесь достаточно... Переждешь до утра или сейчас тебя отправить на пристань?

— Сейчас! Только хоть шинель дайте.

— Но все-таки идти придется под конвоем. Ты для нас пока неизвестный.

Роману дали одежду. Выходя из блиндажа, он слышал, как младший лейтенант принялся разносить провинившегося часового. Вспомнив встречу с ним, Роман вздрогнул, словно от озноба: он был на волосок от глупой смерти.

Рассветало. Из серой, холодной дымки тумана необъятной зеркальной гладью проглядывало озеро, сразу от берега, теряя очертания, уходил в туман лес.

— И далеко до пристани?— спросил он конвойного.

Солдат, соблюдая уставную дистанцию, ответил:

— Километров восемь.

Ответ не удивил и не обрадовал Романа: проблуждав в воде и мраке не один час и пройдя по страшной дороге не один десяток километров, он просто сделал обычное солдатское дело. Впереди пролегали дороги труднее.

* * *

Командир танковой роты капитан Медведев высунулся по пояс из башни танка и крикнул Роману:

— Лейтенант, видишь?— и указал грязной от пороховой копоти рукой на дорогу.

Стоя на гусенице танка, Роман кивнул головой, не отрывая хмурых серьезных глаз от дороги. А по ней, изрытой, истоптанной, наспех проложенной саперами по сосновому лесу, шли пленные, закутанные в разное тряпье, небритые, в опорках и разношерстных валенках и в одних летних мундирах. Судорожно передергиваясь от мороза, они понуро брели туда, куда еще два дня назад бросали победоносные взоры,— в Ленинград. Жаждущие хватали на ходу пригоршни снега и бросали его в безголосые сухие рты. Те, кто не хотел пить, брели скучно, словно за гробом собственной судьбы.

Да, Роман видел, что значит это унылое, жалко растерянное шествие врагов по обожженному морозом лесу, по дороге, еще горячей от крови наших солдат. Это было продолжение того конца, который начался для фашистов с первого их шага на русскую землю.

Он смотрел на грязно-зеленую вереницу чужих солдат, и непрошенно в памяти его всплывали те недавние картины, которые улеглись там тяжелым, но ставшим уже привычным грузом: и эта бесконечная ночь в холодной ладожской воде, смерть товарищей в ней, смерть бесславная, но честная, и...

— Дядя, а когда кончится война?

Этот наивный, но памятный вопрос задал Роману ребенок лет пяти, когда он вел свой взвод с тактических занятий по одной из улиц осажденного Ленинграда. Густой, сырой туман, накаленный морозом, сыпался колючей изморозью на лица и шинели солдат. Темные громады тихих домов каменными скалами выступали сквозь туман, и оттого, что уже был поздний вечер и густо темнело, они казались черными. А снег — серым. Он черство скрипел под ногами, и, пожалуй, только этот однообразный, как усталый солдатский шаг, скрип и слышал, задумавшись, Роман. А где-то далеко ухали орудийные залпы, и совсем, кажется, близко надрывно стучали пулеметы и автоматы.

Они оказались рядом с Романом как-то сразу, словно вдруг поднялись с земли,— совсем маленький человек и женщина. Когда он проходил мимо них, ребенок (Роман не

понял: мальчик или девочка) схватил его за полу шинели обеими руками и спросил, как пожаловался на безысходную боль:

— Дядя, а когда кончится война?

Роман остановился, наклонился над ребенком (закутанный, он походил на сверток одежды) и ответил, как нужно было ответить этому маленькому человеку:

— Скоро!

Потом суетливо выдрал из кармана смерзшейся шинели сухарь, сунул его ребенку и побежал, хотя взвод свой мог догнать за несколько быстрых шагов.

Шли пленные...

Капитан Медведев вылез из танка и стал рядом с Романом, коренастый, крепкий, пахнущий пороховой грязью и тем неизбежным запахом мазута и бензина, которым, кажется, на всю жизнь пропитываются люди, имеющие дело с мощными машинами.

— На Шлиссельбург, наверно, повернем,— сказал он и, ругнувшись, добавил:— Эк, гад, нарезался!

В колонне двое солдат вели пьяного офицера. Без кителя, в одной нательной рубашке, он безжизненно болтался из стороны в сторону, и солдаты с трудом удерживали его. Офицер что-то выкрикивал и тряс рыжей лохматой головой.

— Где вы добыли этого красавца?— перекрывая шум приглушенного мотора, спросил Медведев.

Конвойный, румяный сероглазый паренек, махнул автоматом назад, откуда текла колонна, и ответил:

— В землянке пьяный дрых, стерва... Еле разбудили... эсесовец.

— Опохмелится скоро на чужом пиру!— весело заметил капитан и взял Романа за локоть. — Ты сейчас похож на победителя, к ногам которого бросают знамена побежденных.

Роман сухо ответил:

— Солдат жалко... Троих убило, когда Марьино атаковали... И сержанта Лошакова, моего помощника. Вместе войну начинали.

Капитан вынул из кармана меховой безрукавки алюминиевый портсигар, раскрыл его и протянул Роману.

Молча закурили.

Танки стояли обочь дороги, и с них, как с подвод, смотрели на пленных солдаты десантного взвода, которым теперь командовал Роман. Они были одеты в белые маск-

халаты и поэтому казались одинаковыми даже ростом. Но Роман памятью видел лицо каждого из них, словно они были рядом, как эти пятеро, пристроившиеся вместе с ним на броне командирского танка.

Танковая рота и приданный ей взвод Романа находились в резерве командира дивизии и принимали участие только в одном бою — добивали фашистов в поселке Марьино, обойденном передовыми наступающими частями. Сейчас они ждали приказа к дальнейшему следованию.

А бой грохотал рядом, и, как следствие его удачи, шли в тыл вражеские солдаты. Глядя на них, Роман не кипел от ненависти, не жаждал их убийства. Он, торжествуя, своей молчаливой неприязнью к поверженному врагу, своим угрюмым молчанием как бы говорил: что же вы, сволочи, наделали? И чего добились?

— Да!— неопределенно выговорил танкист и швырнул недокуренную папиросу в снег.

Роман присел на выступ брони, снял каску и стал поправлять белый маскировочный чехол. Только теперь почувствовал он, как ныла шея, утомленная непривычной тяжестью.

— Лейтенант!

Роман поднялся, надел каску, стянул ремешок на подбородке и взглянул на капитана. Тот уже снова выглядывал из башни и поглубже насаживал на голову черный, увитый толстыми жгутами-амортизаторами шлем.

— Приказано двигаться на Третий рабочий поселок и ждать там «хозяина».

«Так в хвосте проболтаешься до самого прорыва блокады»,— с неприязнью к своему положению подумал Роман и приказал солдатам занять места на танках... «Са-дись!»— разноголосо понесся от машины к машине его приказ.

— Смотри, лейтенант, и обозника прихватили!— весело бросил капитан и кивнул головой на дорогу.

Вешая на грудь автомат, Роман равнодушно посмотрел в ту сторону, куда минут пятнадцать назад смотрел с торжеством и снисходительностью победителя. И леденящая, как страшный сон, оторопь на мгновение сковала его. В хвосте колонны пленных, немного отстав от нее, тянул за собой санки с небольшим сундучком на них необычного вида пленный. На нем была наша солдатская шапка с опущенными ушами, старая немецкая шинелишка и стоптанные валенки. Пленный был дюж и, видно, силен, и груз на санках был не тяжел для него. Но он так гнулся, словно

земля втягивала его в себя, как втягивает гнилую корягу водоворот.

«А от папы писем нет. Ушел в армию — и как в воду канул. Но я не жду так писем от него, как от тебя. Напиши хоть несколько слов»,— почти звучно выбила память Романа строки из последнего письма Нины.

И, не желая в душе верить своему предположению и в то же время до лихорадочного озноба чувствуя, что предположение это верно, Роман крикнул:

— Ветров!

Пленный вздрогнул, споткнулся и, как волк при погоне, настороженно скосил голову на окрик. Мертво застывшие глаза, скрытый рыжей щетиной рот... Да, это был Севостьян Ветров.

Танк, оглушительно взревев, сразу же набрал большую скорость. Роман почти машинально пропустил под руку обтягивающий башню танка толстый стальной трос — поручни для десантников — и оглянулся назад. Сквозь снежный вихрь увидел следующий танк. Командир отделения поднял на нем руку — условный знак: «Все в порядке!»

Из-за рева мотора не было слышно звуков ближнего боя, и Роману думалось, что они мчались в этот исковерканный и иссеченный осколками снарядов и мин лес навстречу неизведанной опасности. Они обгоняли колонны бойцов в снежно-белых, еще не испачканных маскхалатах, навстречу им шли раненые, в таких же маскхалатах, но грязных и рваных. И эта неизведанная опасность тревожила и звала, как необходимое дело, которое должны были сделать танкисты, Роман и его солдаты.

Свободной правой рукой Роман добрался до кармана гимнастерки и вынул из него помятый бумажный треугольник — единственное, но так и не отправленное письмо той, отец которой вез за пленными врагами набитый чем-то сундучок. Скомкав письмо, Роман бросил его в буран за танком и привстал. Со следующего танка, увидев его, подняли руку: «Все в порядке!»

Роман примостил планшетку на коленях и, приспосабливая взгляд к неровному ходу танка, стал искать на карте Третий рабочий поселок.

Разведка боем

Это было зимой сорок третьего.

Роты, батальоны, полки дивизии, искромсав вражескую оборону, наступали. Мы, полтораста человек, выписавшихся из госпиталей, шли за наступающими. Мы были для кого-то из них резервом.

Шли ночью по измолотой ногами и колесами дороге через лес.

— Именем Советской Социалистической Республики прошу остановиться!— крик был резкий, требовательный и в то же время по-солдатски дружеский.

Кричал высокий капитан в расстегнутом на груди полушубке и сбитой на затылок шапке. Он стоял на дороге, призывно подняв руки, и продолжал:

— Братцы помогите вытолкнуть эту махину!..

За капитаном, продавив железными колесами жидкий деревянный мосток, утопала в канаве тяжелая пушка. Беспомощно глазела она своим длинным и толстым стволом в низко повисший морозный туман.

Рядом с пушкой на краю канавы недвижно стоял тягач, и кто-то около или под ним гремел ключами.

Пушку ждали на огневой, а расчет ее и капитан ждали нашей помощи. И мы налегли и вытолкнули пушку на дорогу.

Много встреч было на дорогах войны, по-разному незабываемых.

1

Выпив газированной воды и отойдя от киоска уже далеко, Крюков вдруг вспомнил, где он видел эту правую руку с негнущимся указательным пальцем, которая подала ему стакан. Собственно, только палец, прямой, как стер-

жень, и заставил Крюкова за несколько минут, с непонятной, но неотступной тревогой перетрясти свою память. Он повернул обратно и, расталкивая встречных прохожих, поспешил назад, к киоску.

У киоска толпилась очередь. Крюков обошел ее и стал так, чтобы хорошо можно было разглядеть продавца. Да, газированной водой торговал он, лейтенант Басов: та же сутулая фигура, та же тяжелая большая голова. Протягивая стакан и получая деньги, Басов не глядел прямо в глаза людям, а исподлобья морозил их серенькими неприязненными глазами. Он по-прежнему зачесывал свои редкие и длинные волосы с одной стороны головы на другую, прикрывая на ее середине широкую полосу лысины; только волосы теперь стали седые и клеились к голой коже без вазелина, и лоб, почти квадратный, выдавался далеко вперед.

«Он командовал нами,— подумал Крюков, вливаясь в поток прохожих уже без желания побродить по городу в это тихое и теплое воскресенье.—Он говорил, что «положит» всех, пока не будет выполнена задача. Но положил только младшего лейтенанта Розе, своего заместителя...»

Память человеческая честна, она сама стареет, но не старит запечатленное в себе. И Петр Ильич Крюков, бывший младший лейтенант и командир минометного взвода, увидел пережитое двадцать с лишним лет назад таким, каким он видел его тогда.

Инвалид Отечественной войны второй группы Крюков вышел из толпы на тротуаре и прислонился к дереву. Сунул таблетку валидола под язык — сердце билось неровно. «Мне нельзя волноваться... Но этот мог по-глупому положить всю роту»,— думал Петр Ильич, прислушиваясь к своему сердцу. Оно успокаивалось постепенно.

Мимо мчались машины, поток их был густ и бесконечен, и люди переходили улицу осторожно, словно по тонкой жердочке бушующий поток. А до войны по этому проспекту разъезжали на громыхающих повозках, запряженных флегматичными ишаками, трусили седобородые всадники из аулов, тоже на ишаках.

И вот этого громадного пятиэтажного дома не было на углу — тогда здесь жался к земле деревянный домишко, в котором теснился гастроном. После войны все обновилось.

Когда сердце успокоилось, Крюков перешел улицу, направляясь в парк. Проходя мимо пятиэтажного дома, где жили ученые, он заглянул во двор. Двор был залит сине-

ватым асфальтом, и пестрая ребятня по-птичьи галдела в нем. Наверное, теперь только в зоопарке да в кино видят эти ребятишки длинноухих терпеливых животных, осликов.

Сентябрь раздевал деревья, опустошал клумбы и газоны, и парк напоминал вокзал, с которого совсем недавно ушел поезд,— в нем было тихо и просторно. У памятника герою-генералу Петр Ильич остановился и долго всматривался в бронзовое лицо, строгое и простое. Наверно, именно таким, сосредоточенно спокойным слушал генерал донесение с переднего края, когда рядом разорвалась вражеская мина и осколок ее попал ему в грудь; случилось это зимой, и на генерале была каракулевая шапка-ушанка и солдатский полушубок. Так, одетый по-зимнему, неподвижно и вечно глядел генерал с гранитного пьедестала в победную даль.

Бывший офицер любил отдыхать у памятника генералу. Здесь хорошо думалось о прошлом. Притихшие деревья догорали в ярком пламени осени, и взгляд и мысли спокойно, как вода сквозь сеть, текли далеко-далеко... К фронтовому прошлому.

2

Мелкий, почти невесомый дождь сеял с утра до ночи. Он давно промочил все вокруг и одурманил скукой, и шел и шел. В землянках потолки и стены сочились затхлой болотной водой, а доски полов были скользкими и липкими от грязи. Впрочем, к грязи давно привыкли, только дождь точил терпение, как чесотка.

В двенадцатом часу ночи командир минометного взвода Крюков снял сапоги, завернулся в шинель и тотчас уснул.

— Товарищ младший лейтенант, а, товарищ младший лейтенант!

По привычке быстро и безжалостно Крюков сбросил сон.

— Слушаю.

— Командир роты вызывает.

— Меня или всех?— сползая с нар, Крюков быстро сунул ноги в сапоги.

Связной из роты, всегда сонный и вялый, как заморенная на мелководье рыбешка, прикурил от желтого язычка коптилки, трудно разогнулся.

— Всех...

— Не знаешь, зачем?— младший лейтенант потянул было с нар никогда не просыхающую плащ-палатку, но подумал и тут же оставил ее.

— Не...

— В других взводах был?

— Не...

— Ну, иди, спи. Пехоту я по пути прихвачу.

Говорили шепотом — солдаты спали.

— И гоняе, и гоняе... И днем, и ноччу,— жаловался связной.

Младший лейтенант сделал вид, что не слышал солдата, хотя должен был сделать ему замечание: солдату не положено критиковать командира при другом командире. Но в молчании согласился со связным. Когда назначали связных от взводов на КП роты, не обходилось без пререканий: никто из бойцов не хотел идти под личное командование ротного.

Связной лениво зевнул.

— Иди и докладывай. Не подведу! — Крюков застегивал ремень.— Дождь?

— Идé проклятый. По-лягушачьи скоро заквакаем. Когда уж выберемся из этих болот!..

Крюков промолчал: на этом участке фронта болота везде. Летом в траншеях грязи чуть не по колено, зимой рыть эти же траншеи — сущая мука: через полметра выступает вода, и сутками приходится ждать, пока земля промерзнет и можно копать глубже. А уж траншей перекопали!..

И эти бесконечные дожди...

— Такова, брат, служба!— Крюков хлопнул солдата по плечу и вышел из землянки.

Следом за ним месил грязь его вестовой татарин Ахметка.

Черная и мокрая ночь скрывала все. Казалось, что на равнине не было ничего живого. Но тревожно взвизгивали долетавшие с передовой пули, раскатисто а-ахали снаряды — смерть охотилась за живыми.

Ходить поверху не разрешалось — только по траншеям. Но приказ этот выполнялся только днем, ночью же вылезали из опостылевших траншей.

Связной из роты, спрятав цыгарку в рукаве шинели, канул в шуршащую дождем темноту. Младший лейтенант несколько минут приглядывался к ней, привыкал. Потом сказал вестовому:

— Иди и ты спать.

— Нэт, вам ночью один нэльзя ходить,— тихо, но упрямо ответил Ахметка, ежась в промокшей шинели.

Шли спотыкаясь и кляня слякотную дорогу, думая о тепле и сне.

Командир первого взвода младший лейтенант Андреев просыпался долго. Сперва мычал и прятался в шинель, потом минуты две ошалело таращил на Крюкова глаза.

— Какого дьявола?..

— Командир роты приказал явиться...

— Зачем?

— Не знаю.

— Не бункер ли новый задумал для себя?.. О, Милая Алиса, как ты осточертела!— Андреев стал ожесточенно одеваться.

Крюков присел на край нар в ожидании. Сопя и кашляя, Андреев обувался.

— Выспится днем, а ночью блажит,— он поглядел на забитые солдатами нары. Но своего вестового будить не стал.— Пошли! Ты, Петя, дуй направляющим. Я этих паршивых болот бояться стал, недавно заблудился. Отошел от своей землянки метров на двадцать, а проплутал целый час. Балдею, что ли?..

Крюков не ответил. Даже днем на этой гнилой и мокрой равнине можно было заблудиться — все скрывалось под землей, и только у штабов одиноко торчали вехи — ориентиры. Ночью же ходить приходилось или по краю траншей иль вдоль проводов связи.

Подняли командиров двух других взводов, тоже младших лейтенантов. Вчетвером шагалось веселее (Ахметка топал сзади).

Говорили трое, а четвертый молчал. Да и что мог рассказать двадцатилетний офицер Петр Крюков?

Трое говорили о командире роты, которого между собой называли «Милой Алисой». Только совсем недавно Крюков уразумел причину этого прозвища: когда бывал на КП роты, всегда видел на столике лейтенанта Басова листок бумаги и на нем: «Здравствуй, милая Алиса». Письмо было начато, видно, давно, но так и лежало на столе, словно автор этими словами высказался весь. Крюков спросил у взводного-два Розе:

— Кто эта Алиса, которой «хозяин» так долго сочиняет письмо?

Розе ткнул вверх пальцем, сказал:

— Загадка чужой жизни!

Невыспавшиеся и необсушенные взводные были злы.

— Послушайте, «командующий ротной артиллерией»,— усмехнулся в спину Крюкову Розе.— Когда же все-таки у вас мины будут? Предположим, завтра фриц попрет. Вы что, будете дубасить его по головам своими трубами?

— Каждый день говорю «хозяину», обещает,— ответил Крюков.

И сам Крюков и его бойцы чувствовали себя перед стрелками виноватыми, будто иждивенцы. Но мин не было, их только обещали.

Поскользнулся и ухватился за землю Андреев. Пока он отмывал руки в луже, неугомонный Розе говорил:

— Понимаешь, Петя, все время есть хочу. Сплю и вижу сон: ем что-нибудь вкусное. Однажды изжевал воротник шинели, а снился копченый лещ. Потеха!

— Тебе только бы есть!— заметил Андреев, вытирая полой шинели руки.— Скучный ты человек. Недаром тебя «Алиса» кухонной приживалкой называет.

— За это, клянусь богом, он когда-нибудь получит!— взъерошился Розе.— На кухню я свой взвод вожу сам. Потому кухари наши любят оставлять в котлах излишки. Для своих баб.

Молчаливый и всему покорный комвзвода-три с редкой фамилией Носик (на самом деле у него был настоящий нос!) мягко прошелестел:

— Абрам Давидыч, нельзя грубо говорить о женщинах. Они, как вам сказать, начало всему. Притом такая обстановка...

— А, перестаньте, Нос!.. Обстановка!.. При штабе батальона их до взвода! И все как пирожки со сковородки.

— Но позвольте, если бы женщина не была интересна...

—...То можно было бы снабдить харчами еще взвод солдат!— сказал, как кол вбил, Розе. И замолк, будто в темень провалился.

И все молчали, думая о женщинах. Своих, очень далеких, и чужих, которые встречались случайно.

С тихой грустью командир ротных минометчиков завидовал бывалым друзьям — он не знал женщин и только хотел любви.

— Да, женщины,— вздохнул Андреев, встряхивая мокрыми руками.— И хорошо с ними и плохо... Моя замуж вышла, как только я ушел в армию. А случилось это в тридцать девятом году. Но осталась она для меня первой и одной.

— Жизнь — сложнейшее ремесло,— завел было снова философские рассуждения Носик, но впереди зачавкала под чьими-то шагами грязь — кто-то шел.

Сунув под мышку приклад автомата, Ахметка пружинисто заскользил навстречу возможной опасности. Вернулся он через минуту с вестовым из роты: лейтенант Басов повторно слал свой приказ.

3

Когда командиры входили и докладывали о себе, лейтенант Басов сидел на чурбаке перед железной печуркой и топил ее старыми журналами «Нива», которые ворохом лежали около. Пошуровав ржавым штыком в розовом пепле, он встал, поправил подтяжки и шаркнул диковато настороженным взглядом по лицам подчиненных.

— Обабились совсем!.. Ждать заставляете!..— бросил он наотмашь, быстро, словно стараясь предупредить предполагаемые возражения.— Полчаса плелись до КП. Позор!

Подавшись к столику из красного дерева, на котором мигали огоньки двух коптилок, Розе взглянул на свои ручные часы.

— Вы ошибаетесь, лейтенант. Мы шли всего семнадцать минут. Пришли бы раньше, но младший лейтенант Андреев...

— Прошу молчать, когда я говорю!— бросил Басов.

—...ляпнулся в грязь и отмывался!— невозмутимо закончил свой доклад Розе и вытянулся по стойке «смирно».

Командир роты брезгливо усмехнулся, махнул рукой:

— Перестаньте паясничать!..

Щелкнув каблуками, Розе кинул руку к виску.

— Имею привычку не унывать!— голос младшего лейтенанта напрягся, как натянутая струна.

Андреев незаметно схватил друга за хлястик шинели, дернул.

В эту минуту заговорил младший лейтенант Носик. Он протер наконец свои очки, усадил их на переносице похожего на лыжный трамплин носа и склонился над кучей журналов.

— Товарищ лейтенант, что вы делаете!

— Что?— лейтенант Басов в оторопи поднял брови.

— Ведь это же «Нива»!

— Вижу, грамотный немного,— снисходительно улыбнулся лейтенант.

— У нас в публичной библиотеке было всего три «Нивы». И их не всем давали,— говорил Носик, уже не упрекая, а обвиняя; он осторожно брал журналы, отряхивал их от пыли и складывал на руку.— А вы такой редкостью печку топите! Нехорошо... Я заберу их.

— Берите!— легко согласился командир роты.— Вы, кажется, по гражданке учитель?

— Нет, музыкант. Скрипач.

Младший лейтенант собрал журналы и, подумав, завернул их в полу плащпалатки. И так стал перед командиром роты, поправляя очки.

— Да, может быть, нехорошо,— согласился лейтенант Басов.— Но рекомендую поменьше думать о всяких сентиментальных пустяках — мы солдаты.— Он поставил ногу на венский стул, обтер красной бархотной тряпицей сапог.— Мы воюем, и всякие там трали-вали — к...!

Крюков стоял за всеми и старался понять (в который раз!), что за человек их ротный: крепкий солдат и разумный командир или недалекий человек, получивший власть? И зная, что «никто ему не указ», он давит этой властью тех, в ком подозревает больше ума.

Но почему же Андреев и Розе, можно сказать, тоже ветераны, остались простыми и доступными? И он, Крюков, любит их и завидует им. А вот к лейтенанту Басову у него нет симпатии, напротив, он испытывает к нему какую-то неприязнь, и каждый вызов на КП напоминает ему то время, когда учитель раскрывал классный журнал — и ученик Крюков, не зная урока, съеживался...

Думал младший лейтенант Крюков и о другом: у командира роты не просто землянка, а целый подземный дом. И обстановка такая, какой, вероятно, у него не было и в гражданке: великолепная мебель, никелированная кровать с пружинным матрацем, шелковое стеганое одеяло. На стенах тисненые обои, картины в золоченых рамах. И печка.

Подземный «особняк» строили и отделывали по ночам солдаты. Они же, тоже по ночам, ходили раздобывать для него обстановку в безлюдные пригороды Ленинграда. А днями, невыспавшиеся, занимались своими солдатскими делами.

Командир роты жил в «особняке» один. Его вестовой и связисты ютились в нише, скрытой, как занавесом, плащ-

палаткой. Даже старшина, санинструктор и писарь жили отдельно.

— Садитесь!— наводя блеск на сапоги, снизошел наконец командир роты ко всем. Когда командиры расселись, он вынул из планшета карту, разгладил ее на колене и продолжал жестко, словно выговаривая:— Сегодня комбат водил всех командиров рот на передовую, знакомиться с обстановкой.

«Значит, скоро будем наступать»,— подумал Крюков с тайной радостью и оглядел лица друзей. Но они были просто сосредоточены, и командир минометного взвода поспешил тоже стать серьезным.

— Были мы вот здесь,— лейтенант Басов ткнул пальцем в карту почти не глядя, продолжал:— Фрицы на этом участке молчат, но до того обнаглели, что оправляться выходят из траншей. Один, стерва, при нас вылез, снял штаны и сел к нам задом. Я чуть было не запустил в него биноклем...

— Снайпера не было?— спросил Андреев.

— Нет,— ответил лейтенант, ковыряя под ногтями спичкой. На этом участке вообще пока как в раю.

— А если миной?..— подал голос Крюков, краснея и представляя, как бы он из миномета разделал нахала: и штаны бы натянуть не успел!

Командир роты не ответил, но молчание его не обидело Крюкова: вопрос не нуждался в разрешении.

Розе встал, взял карту с колен лейтенанта, расстелил ее на столе. Спросил, наклоняясь:

— Где это?

Стол и лейтенанта, утонувшего в глубоком мягком кресле, окружили. Все липли к карте, и Басов снова стукнул пальцем по ней:

— Здесь.

Подумали. Помолчали. Розе первый заговорил:

— Я знаю это место — непролазное болото. На той стороне его фрицы, на этой — наши. В этом раю хуже, чем в аду. И наших и ихних полегло тут дай боже!— сказал он и отодвинул карту.

Басов встал, и все встали и отступили от стола. Только Розе, косясь на карту, остался на месте, словно карта содержала еще что-то такое, что требовало безотлагательного разрешения или объяснения.

— Свыше посоветовали нашему комбату одной ротой произвести в этом месте разведку боем!— лейтенант поры-

висто раскинул карту, чуть не погасив коптилки.— Комбат спросил нас: кто сумеет сделать это? Я ответил ему, что первая стрелковая рота, наша рота, произведет такую разведку.

Теперь молчали так, что не слышно было даже дыхания. Только, сгорая, трещала в фитилях коптилок ружейная щелочь. Тишину оживил опять нетерпеливо-настойчивый голос младшего лейтенанта Розе:

— И что на это ответил комбат?

— Он сказал, чтобы я посоветовался с вами и позвонил ему завтра в восемь ноль-ноль.— Командир роты вынул из кармана кавалерийских галифе дюралевый портсигар, выщипнул из него папироску «Красная звезда» и щелкнул зажигалкой.

Командиров взводов тоже потянуло на курево, они выложили на колени коробки и кисеты с табаком. Запустил руку в карман шинели и Крюков. Он не курил, отдавая свой табак солдатам, но когда другие закуривали, он тоже хотел быть курильщиком.

Младший лейтенант Носик сворачивал папироску долго и, запалив ее от спички Розе, задымил так, что Крюкову пришлось, перекосив губу, отдувать едучий дым.

— А может быть, можно сделать небольшой поиск?— негромко спросил Андреев, потирая серую щеку.

— А какова цель разведки?— спрятавшись в табачный дым, спросил Носик.

— Цель любой разведки — разведка!— ответил лейтенант Басов и красиво сбросил пепел к потухшей печке. — Об этом надо знать, товарищ младший лейтенант!

— Но в данном случае?— Носик размахал дым и щурился на командира роты сквозь очки спокойно и пристально.— Разведка боем целой ротой...

— Мы должны прощупать оборону немцев за болотом. При этом я обещал комбату не меньше полдюжины «языков». И обещание свое я выполню, даже если положу всю роту!..

В отливающих тусклым блеском сапогах, в синих галифе, поддерживаемых подтяжками, но без гимнастерки, в одной чисто выстиранной нательной рубашке, лейтенант среди них, младших лейтенантов в серых шинелях и грязных сапогах, выглядел не по-фронтовому. Только правый указательный палец Басова, прямой, как школьная указка, напоминал, что он тоже воевал, был ранен.

Младший лейтенант Крюков стал было думать о месте в бою своего минометного взвода, но увидел Розе, стоящего у стола, и услышал его ровный и уверенный голос:

—...Болото в низине. Если у фрицев и нет за ним глубокой и сильной обороны, то они все равно расчихвостят нас вот с этих высот. Болото для огневых точек — как мишень в тире... Допустим, мы возьмем траншеи за ним, а дальше?..

Прямой и крепкий, словно стоймя поставленная железнодорожная шпала, аккуратно и туго затянутый ремнями, Розе в глазах Крюкова был идеалом советского офицера. Он влюбленно завидовал своему старшему товарищу и гордился им с затаенной мыслью, что и он, Крюков, когда-нибудь станет таким.

Лейтенант Басов ловким щелчком послал окурок в черное жерло печурки, сцепил на коленях пальцы и склонил голову, круглую и аккуратно причесанную, пахнущую вазелином.

— Что же вы предлагаете, младший лейтенант?— он поднял брови и уперся в командира взвода насмешливым взглядом. Через месяц начнутся морозы и немцы укрепят свои позиции так, что к ним и целым полком не подступишься!

Младший лейтенант Андреев встряхнул головой, сбрасывая дремоту, и сказал неожиданно громко и совсем недремотно:

— Тогда и нашу оборону фрицы не пробьют целой дивизией. «Кто хочет мира, тот должен готовиться к войне». Наполеон так еще говорил...

Младший лейтенант Носик, пальцем тронув очки, заметил:

— Федор Иванович, это латинская пословица...

Все, и даже командир роты, с почтительным вниманием посмотрели на бывшего музыканта.

—...Древние римляне так говорили,— мягко добавил Носик.

Командир взвода-два, словно его и не прерывали, продолжал:

— Мы выбьем фашистов из первой линии траншей. А дальше?.. За нами пойдет батальон, полк?.. Нам придется отходить...

— Вы не верите в успех разведки?— прервал лейтенант Басов.

— Я не вижу в ней смысла. И не верю, чтобы командование полка решилось на это безрассудство... Пустить в

расход целую стрелковую роту лишь только потому, что какой-то пьяный фриц снял штаны у вас на виду,— это нелепо.

— Значит?..— Басов поднял руку с непоколебимо указующим пальцем и стал поправлять на ней бинт, который он почему-то носил всегда.

— Значит, вы сами напросились на эту авантюру и взяли обязательство добыть полдюжины «языков». Для чего? Пора думать и воевать как следует, а не «обязываться»!— Розе побелел. Ноздри его тонкого прямого носа слегка вздрагивали, словно их щекотали.— Я сказал свое мнение. Еще могу добавить: завтра я доложу его командиру батальона — прошлой осенью мы вместе с ним купались в грязи на этом проклятом «пятачке»...Неужели он забыл?.. Не может быть!— Розе сунул большие пальцы за поясной ремень и провел их назад, убирая складки на шинели, сел.

Крюкову хотелось угадать, что же будет дальше, но в голову сучком засело слово «обязательство». И он стал думать, где он первый раз слышал его. И вспомнил: в школе, когда учился в шестом классе.

Тогда «обязывались» делать все, что должно было делаться и без обязательств: учиться только на хорошо и отлично, не хулиганить...

Так было там, в тылу. Зачем же обязательства здесь? И почему лейтенант Басов взял обязательства столь безответственные?

Может быть, командир батальона просто завел разговор с командирами рот: не мешало бы проучить обнаглевших фрицев? Но это может сделать один снайпер или любой минометчик из его, Крюкова, взвода. Зачем же рисковать целой ротой?..

Командиру второго взвода младшему лейтенанту Розе нельзя не верить: с начала войны в самом пекле. И вокруг Ленинграда второй год колесит фронт...

— Вы не командир, а болтун!— этот окрик лейтенанта Басова вернул Крюкова из путаницы дум в действительность. Сам не зная почему, он привстал.

— А вы ловкач!.. Один из тех ловкачей, которые и на войне умеют жить!— ответил Розе спокойно и немного устало, словно ему давно надоел этот неуместный, но необходимый спор.

Он встал, поправляя пилотку.

До сих пор Петр Ильич Крюков не может понять, как оказался в руках лейтенанта Басова наган.

Розе после выстрела вздрогнул так, что с головы его слетела пилотка. Медленно повернулся он к командиру роты и потянулся правой рукой к кобуре с пистолетом, но тут же повалился на печурку, сжав руками живот.

Когда Крюков и Андреев упали перед ним на колени и стали расстегивать на нем ремни и шинель, Розе еще проговорил:

— Знает, куда стрелять!..

Это были его последние слова.

Мертвого унесли санитары из батальона.

Когда над могилой Розе скорбно расплескались прощальные залпы, Крюков, утаивая слезы, подумал: что же напишут в новой похоронной?..

Лейтенанта Басова судили, разжаловали и отправили в штрафной батальон.

4

Наступали день и ночь. К раскаленному морозом металлу оружия липли руки, но на это не обращали внимания: точно выбив наконец ненавистную дверь, солдаты ринулись в пролом вражеской обороны неудержимым потоком.

Враг цеплялся за каждую возможность обороняться, но его отрывали от мест случайной обороны и гнали дальше, по лесам и лесным дорогам, в мороз и в темень.

Шли пестрые от разного тряпья колонны пленных. Лица пленных, осунувшиеся и заросшие, казались однообразными.

Хотелось спать, и лейтенант Крюков, командир той самой роты, которой прошлой осенью командовал Басов, ускорил шаг. Овчинные рукавицы его промерзали так, что казались жестяными.

До поселка Лесного оставалось немного, но усталость растягивала путь до бесконечности. В поселке намечался сбор всего батальона, а потом — отход на отдых.

В роте оставалось всего тринадцать человек, остальные — полегли там, на полянах и дорогах недавних боев.

Солдаты спотыкались. Они сделали свое дело и думали о сне. И о том, что остались живы.

Шли цепочкой по узкой тропинке. В густом сером тумане, кажется, поскрипывающем от мороза, все виделось, как сквозь матовое стекло.

Рядом с лейтенантом Крюковым сопел Ахметка и поругивался по-татарски. Утром ему осколком мины раздроби-

ло приклад автомата и пришибло большой палец на правой руке. Тупая боль донимала солдата, зато отвлекала от сна. Он шел ровно и упрямо, и лейтенант, видя его сквозь дрему, знал, что они идут и дойдут.

Вечерело, и туман розовел от далеких лучей заката. Там, где пряталось равнодушное зимнее солнце, лениво погромыхивали пушки. А когда целой очередью рвались снаряды орудийных залпов, казалось — перекатывался обыкновенный гром.

Из леса вышли наконец на широкую дорогу, утрамбованную танками. Лейтенант Крюков остановил солдат, кое-как отыскал под грязным маскхалатом планшет с картой. Снял рукавицы и поболтал руками.

— Ахмет, посвети!

Вестовой зажужжал фонариком. Но свет его был слаб и отразился на планшете мутным пятном. Крюков опустил его.

Сгрудились солдаты. Они молчали, но командир знал, о чем все думают: скоро ли поселок? Младший лейтенант Носик, косясь на командира одним стеклом очков (другое где-то выскочило), простуженно просипел:

— По-моему, надо спросить...

С оглушающим ревом, разбрызгивая снег, прошли к передовой три танка. Огромными снежными комьями к башням их липли десантники. Маскхалаты на солдатах были чистые, и лейтенант подумал, что наступление для них только начинается.

А навстречу шли раненые. И ехали сани с ними. Ездовые нахлестывали заиндевевших лошаденок, и те, разбрасывая ноздрями клубы пара, торопились. Лейтенанту не хотелось задерживать раненых, и он топтался сбочь дороги. И солдаты с ним. Они промерзли и хотели отдыхать, но не донимали командира вопросами.

— Стойте!.. Одну минутку!..— крикнул младший лейтенант Носик.

Лейтенант увидел перед собой громадную куцехвостую лошадь, впряженную сразу в трое саней. Сани были наши, но лошадь — чужой породы.

Они с младшим лейтенантом подошли к передним саням. Из тулупа высунулся человек с офицерскими погонами на шинели. В затяжном зевке обдал водочным перегаром и сказал:

— Слушаю!

— Далеко до поселка Лесного? Карту невозможно раз-

глядеть... Нам назначено там...— Крюков не договорил, потер глаза: да, на санях ехал Басов, на нем опять погоны лейтенанта!

— Пройдите немного — и направо!..— Увидите — раздолбано все... Хотите трофейного шнапсу?.. Слабоват, но все же,— и Басов стал копаться в тулупе, как в куле.— А я пленных офицеров сопровождаю. Всех званий. Есть даже подполковник... Приказано срочно доставить в штаб армии.

На двух других санях горбясь сидели пленные, и автоматчики из охраны высились над ними.

— У нас есть шнапс. Тоже трофейный,— сказал младший лейтенант Носик, повернулся и пошел к солдатам.

Лейтенант Крюков ничего не сказал. Зябко поежился.

— Эй вы! Кто из вас старший?— крикнули из тулупа.— Почему разрешаете солдатам курить без маскировки?.. Какой части?

Крюков видел, как в толпе солдат затухающей искрой маячил огонек папироски, и понимал, что его не видно и с десяти метров в этом густом промозглом тумане. Но приказ нарушался, и Крюков заставил себя громко, но не строго сказать:

— Прекратить курение!

Папироска в толпе потухла, а из саней продолжали выговаривать. Молодой лейтенант повернулся и пошел к саням. Но в этот миг неподалеку рванул снаряд, на мгновение оживив огненным всполохом мертво присмиревший лес и разбросав вокруг снежную крупу.

Лейтенант Басов упал на передок саней и рявкнул ездовому:

— Гони!

Взмахнув толстой метелкой хвоста, битюг чужой породы легко поволок связку саней по укатанной дороге. Пленные лопотали о чем-то, пряча головы в высокие воротники теплых шинелей. Из одного воротника, как стекла стереотрубы из окопа, торчали очки.

— Надо было у фрицев реквизировать очки для тебя,— сказал Крюков младшему лейтенанту, стараясь не думать о том, что могло бы случиться, не пожалуй вовремя шальной снаряд.

— Я уже думал об этом,— ответил Носик, глядя на лейтенанта по-птичьи — боком. Но неудобно как-то... Между прочим, как вам это нравится?— он махнул рукой вдоль по дороге, которая скользила в туман и терялась в нем.—

Пленных, гад, сопровождает, шнапс трофейный пьет... Непонятно...

Крюков положил руку на плечо младшего лейтенанта, но сказал совсем не то.

— После войны разберемся, кто и как ее прошел.

— А Розе убит, погиб Андреев,— скорбно обронил Носик.

— Да, им теперь все равно.

И снова, очерствев от усталости, мерили дорогу, торопились к отдыху и сну.

5

Теперь бывший лейтенант Басов продает газированную воду. Как он помнит войну? Такие обычно больше всех «выстрадали и перестрадали», громче всех орут о своих заслугах, выколачивая за них вознаграждения...

Петр Ильич встал со скамейки и, глядя на бронзовое лицо генерала, подумал: «Пойти вот сейчас и сказать все это тем, кто пьет у него воду...» Но вздохнул и сказал:

—Да, всяко бывало, товарищ генерал!..— и пошел по аллее к выходу из парка.

Всегда живая

По тому, как вяло и недружно велась артподготовка, Путинцев определил, что наступление будет нелегким. Это солдатское чутье стало тяжкой уверенностью, когда в атаку пошли два наших тяжелых танка «КВ». Один, переползая через свои окопы, завалился в них, другой, дойдя до нейтральной полосы, повернул обратно, уставившись пушкой совсем в ненужную сторону: осколком вражеского снаряда ему заклинило башню...

По траншее солдатские голоса донесли до Путинцева слова: «Смерть фашизму!». Это был условный сигнал к атаке.

Он выскочил на бруствер и стал во весь рост. Обернувшись, указал автоматом вперед и крикнул:

— Держать на то дерево! За мной!— и зашагал быстро, по привычке сутулясь и сжимаясь — ему казалось, что от этого он станет меньше и неприметнее.

Глядя по сторонам, Путинцев видел: словно белый бесконечный вал, катились вперед взводы, роты батальона, одетые в новенькие маскхалаты.

Враг молчал, его будто не было совсем на этой гладкой, как футбольное поле, снежной равнине, но от необычной тишины и Путинцеву, и тем, кто шел рядом с ним и дальше, было не по себе.

Из серой мглы морозного рассвета все явственнее вырисовывались вражеские траншеи, в них суетились, будто тени, фигурки людей. Наконец послышались чужие команды.

— Вперед!— закричал Путинцев ожесточенно, злясь на то, что в эту самую минуту надо было бы уже быть в окопах противника, но они еще только виднелись, и каждую секунду оттуда могли открыть огонь.

Впереди взметнулась стена глухих взрывов и огненных всполохов. По своему солдатскому опыту Путинцев знал,

что главное теперь — не прижаться к земле. Иначе будет конец, враг придавит огнем, не даст больше подняться. Во что бы то ни стало надо рваться вперед, сквозь эту дымно-огненную стену, и он кричал, не слыша своего голоса:

— Вперед!..

Он видел, как падали бойцы, он слышал, как кричали раненые, но он шел впереди и вел за собой других.

Из огневого вала цепь атакующих вырвалась сильно поредевшей. Враг оказался рядом. Вражеские солдаты, отстреливаясь, разбегались. Теперь еще один рывок, самый мощный, самый страшный для врага,— и Путинцев, вновь ощутив себя и свою силу, закричал:

— Ура-а!— голос его затерялся в однообразном, грозно нарастающем шуме: — А-а-а!..

И в этот момент страшная сила оторвала Путинцева от земли и швырнула куда-то вверх.

Он не почувствовал, как упал, но когда открыл глаза и попробовал пошевелиться, нестерпимая боль парализовала его. Мысленно он ощупал себя — все было цело, кроме ног. Они не ощущались.

Оглядевшись, Путинцев определил, что лежит на дне воронки. От земли, развороченной взрывом снаряда, пахло мерзлотой и толом. Опираясь на локти, он приподнялся. Из обеих ног, выше колен, текла кровь. Она текла, вероятно, давно, потому что под ним было мокро.

Перетянуть чем-нибудь ноги выше ран — эта мысль овладела Путинцевым, как полчаса или час назад владела другая: вперед, только вперед. Он снял планшетку, отстегнул от нее ремень и, мыча от боли, кое-как совладел с левой ногой — перетянул ее почти в паху. Теперь нужно было заняться другой. Путинцев разорвал маскхалат и снял поясной ремень... Кровь из ран течь перестала, но резче стала боль.

Часы стояли, небо заволокли тучи, почти черные и тяжелые, как клубы дыма, когда горит мазут, и нельзя было определить; вечер уже или просто сумрачно. Прислушиваясь, Путинцев понял: вели огонь и немцы. И, странное дело, с прежних позиций. Словно наши не наступали, а фашисты не уходили из своих траншей.

«Неужели все сорвалось?»— подумал Путинцев. И эта мысль не напугала и не удивила его: на войне всякое бывает, к тому же неудачу он предугадывал. Да и неудача ли? Кто знает, что думало высшее командование, организуя это наступление?

Он вдруг уловил чужую речь совсем неподалеку и подумал, что до ночи из воронки ему не выбраться — он лежал под носом у немцев. Но сколько же времени оставалось до ночи?

Не думалось, что с ним будет. Тяжелая, вязкая дремота опутала его, он закрыл глаза и забылся.

Путинцев очнулся от того, что кто-то тер ему уши. Кое-как разомкнул веки. В эту минуту вспыхнула ракета, и он невольно подался назад — слишком близко и неожиданно увидел перед собой девичье лицо, голубоватое от света ракеты и все-таки ярко румяное. К глазам его приблизились ее глаза, большие, темные и такие теплые, что Путинцев сразу почувствовал себя не одиноким в этой долгой ночи. И прядь волос, кажется, рыжеватых, выбившаяся из-под сползшей на ухо солдатской шапки, тоже казалась теплой, хотя и морозно искрились в ней застрявшие снежинки. Она по-детски провела языком по сухим, устало вздрагивающим губам, хлюпнула мокрым носом и сказала:

— Живой?.. Вот и хорошо...

Ракета погасла, Путинцев расслабил веки, и они снова плотно слиплись. Но он уже не оставался в этой муторно сонной безразличности: он видел темные, неизвестно какого цвета глаза и чувствовал всю ее, как счастливую судьбу,— он не умрет, нет, потому что рядом она...

Путинцев, спокойный от уверенности, что ничего теперь страшного нет, откуда-то издалека слышал ее голос:

— Еле отыскала тебя. Ты один остался... Дивизия прорвала фронт справа... Потерпи.

И голос ее был самым нужным, как и она сама, которую он впервые так близко встретил за свои короткие двадцать лет.

Она тащила его рывками, как непосильную тяжесть, но он не чувствовал боли, вернее, она, боль, была так далека, что не тревожила, и Путинцев молчал.

Он слушал грохот рвущихся снарядов, хлопкие взрывы мин, слышал ее дыхание, и словно сказанное через шумящую реку:

— Кажется, задело... Осталось немного... Устала,— и подумал, что с ней что-то случилось, но что — домыслить не хватало сил.

Он был уверен: его продолжают тащить к своим и не бросят. Усталость и необоримое желание покоя одолели его — он забылся.

...Он бежал, пригнувшись, по узкой траншее, не зная,

куда и зачем, когда на пути его появилась удивительно белая собака. От неожиданности такой встречи и напуганный ею, он остановился. Остановилась и собака, неотрывно глядя на него злыми черными глазами. Он попробовал пнуть собаку, но она, предупреждающе оскалившись, бросилась на него. Он испугался и закричал...

— Кажется, очнулся,— сказал кто-то рядом.

Дрожа от испуга, вспотев, Путинцев открыл глаза. Рядом на патронных ящиках, друг против друга, сидели двое бойцов и курили. Третий стоял рядом и внимательно вглядывался ему в лицо. Но бойцу мешала собственная тень. Он отклонился, давая простор жидкому свету от коптилки, сделанной из снарядной гильзы; она стояла на подмостке, на котором холодно поблескивал металлом станковый пулемет.

Путинцев не удивился, увидев себя снова среди своих, в тепле, в надежном укрытии — пулеметном блиндаже. Напрягая голос, он спросил:

— Где *она?*

И тот, который стоял рядом с ним, опять наклонился. Он не расслышал вопроса.

— Где *она?*— прокричал Путинцев,— так, по крайней мере, показалось ему.

Никто не ответил.

Внезапно где-то рядом раздалось несколько таких сильных взрывов, что блиндаж покачнулся — и с подмостка чуть не скатился пулемет. Немец стал бить из тяжелых орудий. Путинцев ждал окончания обстрела с одной мыслью: узнать, что же случилось с нею, его спасительницей?

Обстрел прекратился так же внезапно, как и начался. Тяжелой глыбой нависла тишина, только в печурке трещали сырые дрова, будто рвались в них пистоны.

— По тылам, сволочь, лупит,— сказал один из бойцов и тряпицей стал смахивать с пулемета пыль.

Другой зевнул и нагнулся к печурке, которая полыхала жаром в ногах у Путинцева.

— Как же так, она была со мной,— проговорил Путинцев, стараясь не верить молчаливому ответу тех, кто был в блиндаже.

Стоявший боец бросил недокуренную папиросу к печурке, поправил на голове шапку, набросил на нее башлык маскхалата и повесил на шею автомат.

— Убили. Тебя дотащила, а сама погибла. У самого

нашего бруствера.— И бросил бойцам:— Я к хозяину. Узнаю, когда будет подвода за ранеными,— откинул плащ-палатку, заменяющую дверь, и вышел.

Путинцев плакал тихо и долго, не стыдясь своих слез. И никто его не утешал.

— Жалко, что и женщины погибают,— сказал боец у печурки.

Сидящий у пулемета ему ответил:

— Да, наш брат еще так-сяк, а женщина — совсем другое. Будто мать хоронишь или дитя родное...

* * *

...Поскрипывая протезами, он проходит по двору, и ребятишки, завидя его, кричат:

— Дядя Сережа идет!..

И если в руках у него сетка с продуктами, шумно предлагают ему свою помощь.

Ему уже за сорок, в волосах его изморозью поблескивает седина, но он так и не женился. Когда его спрашивают, почему,— он пожимает плечами, невесело улыбается:

— Не знаю, как-то не получилось у меня это дело...

Он тяжело привыкал, но все-таки привык к своей инвалидности. Даже во сне он стал видеть себя на протезах. Но по-прежнему ясно, будто случилось это только в прошлую ночь, в памяти его вспыхивает ракета — и он видит девичье лицо, голубоватое от света, большие и темные глаза, неизвестно какого цвета, и слышит ее голос:

— Живой? Вот и хорошо...

Чудак

Участковый, лейтенант милиции Обручев, сразу нашел нужную квартиру. Первый же встреченный им жилец этого четырехэтажного дома ответил лейтенанту:

— А, чудак с собакой!— и рассказал, как пройти к тому, на кого жаловались соседи как на нарушителя «санитарных условий норм общежития» и т. д., и т. п.

Обручев позвонил, дверь открылась, и он невольно попятился, прикрываясь планшеткой, как щитом: на него, навострив высокие уши, смотрела огромная собака. Лейтенант не разбирался в породах собак, но породу этой определил безошибочно: овчарка. Младенец узнает овчарку среди сотни других собак — так известна она.

— Вега, на место!

Собака отошла от двери и легла, не спуская с лейтенанта беззлобно горящих пытливых глаз: она, казалось, старалась распознать своим собачьим умом, что за человек Обручев и с чем он пожаловал к хозяину.

— Проходите, не бойтесь. Она не тронет.

Дверь распахнул человек лет сорока пяти, лысый, круглолицый, с добрыми голубыми глазами навыкате. Как он посторонился, пропуская Обручева, как закрывал дверь, тот определил: инвалид, вместо правой руки — протез. Потом, когда хозяин квартиры прошел за лейтенантом на кухню, опираясь на правую ногу, как на бревно, он дополнил свое предположение: и ноги, наверное, нет. И как он будет вести очень серьезный разговор с таким инвалидом? Служебный запал у лейтенанта пропал, и он уже злился на тех, кто написал жалобу на этого почти беспомощного человека.

— Вот что, гражданин Наседкин,— начал Обручев, стараясь не глядеть собеседнику в глаза.— Дело такое...

— Пройдемте в комнату,— предложил Наседкин, и лейтенант обнаружил, что и речь у хозяина квартиры с дефектом: он растягивал слова, как будто с трудом заставляя язык выговаривать их.

— Спасибо, поговорим здесь,— ответил Обручев, сел, раскрыл планшет и снова закрыл его и придавил локтем к столу.

Наседкин, поддерживая здоровой рукой табуретку, сел и отставил в сторону негнущуюся ногу.

— На войне?— спросил Обручев, указывая глазами на ногу.

— Да, на ней, проклятой,— ответил Наседкин, и по-детски ясные глаза его смеялись, словно он таил в мыслях что-то веселое и сам с собой разделял это веселье. — Так с чем пожаловали, товарищ лейтенант?

— Дело, знаете, такое... Жалуются на вашу собаку... Детей пугает, гавкает с балкона... И вообще, зачем вам собака? Вы семейный?— Обручев почувствовал, что вопрос этот немного неуместен и поспешил поправиться: — Вы один живете?

— Да, к сожалению.— Наседкин поправил здоровой рукой больную (рука, оказывается, была не протезная, а своя, но висела безжизненно, как сломанная ветвь).— А может быть, и не к сожалению... Так, значит, моя Вега мешает соседям?

— Пишут,— поморщился Обручев.— А мне вот поручили разобраться... Работа такая...

— Что же, разбирайтесь, раз нужно,— покорно согласился инвалид и стал непринужденно оглядывать гостя.

«Черт знает что за народ!.. Обязательно нужно написать кляузу, будто так нельзя договориться...» Смахнув невидимую пылинку с рукава кителя, Обручев спросил:

— А без собаки вы не можете?..

— Живое существо, умное,— неопределенно ответил Наседкин. — Только жалоб писать не умеет. А стоило бы,— он покраснел, опустил глаза и опять занялся устройством больной руки на коленях.

— Это как же?

— А так: живут тут муж с женой. Как напьются — хоть из дому убегай: ругань, вопли и такой грохот, будто они там шкафами или диванами бросаются.— Наседкин помолчал, глядя перед собой ясными до прозрачности глазами. Но они уже не смеялись, а вспоминали и переживали.— Ес-

ли моя Вега на балконе, так они со своего бросают в нее окурки, шваброй тычут. А что им сделала собака?

— Но собака, посудите сами, в общем доме, это...— подыскивая убедительное сравнение, Обручев повернулся к Наседкину, скрипнув табуреткой.

В дверях бесшумно, как призрак, появилась Вега. Она вся словно напружинилась и цепко ухватилась за лейтенанта неподвижно горящими глазами. Обручев замер, растерянный. Перед ним сидела не просто собака, а друг, готовый на все ради защиты своего друга-человека. Хозяин понял состояние гостя и дружелюбно, но властно приказал:

— Вега, марш на балкон!

Собака взглянула в глаза хозяину и покорно исчезла. Скрипнула дверь на балкон, раз и другой. Лейтенант проглотил вздох облегчения, спросил:

— Она сама дверь открыла?

— Да,— ответил Наседкин равнодушно, будто сообщил о чем-то обычном для него, и задумчиво поглядел вслед Веге.— Она многое умеет делать. Раньше, когда я жил на старой квартире, она бегала за газетами в киоск. А сейчас, наверное, забыла это дело, соседи косятся, мол, детей пугает... А она никогда не тронет ребенка. Никогда!.. Был случай, дравшихся пацанов растащила... Собственно, с этого случая и началось... Родители подумали бог знает что.

Лейтенант слушал, и в памяти его четко вырисовывался один эпизод из детства. Они, Обручевы, жили в рабочем поселке, напоминавшем горный аул: глиняные хибарки лепились по склонам оврага, как сакли, что были нарисованы в книжке «Хаджи-Мурат». Летом, после школы, поселковые ребятишки отправлялись бродить по полям, собирали в наглухо заросших арыках ежевику, ловили, пескарей в юркой и бурливой речушке.

Их всегда сопровождал огромный пес Сашки Дягилева по кличке Монах. Лохматый и жирный, он был удивительно добродушен и ласков. Он, казалось, не умел лаять и всегда улыбался всей своей собачьей мордой. Его кормили все, у каждой хибарки он был своим. Еду он зарабатывал: кости, всякие объедки подбрасывали вверх, и он ловил их с лету, как вратарь мяч.

И нашелся в поселке негодяй, который подбросил булыжину — и Монах остался без зубов. Возмущались взрослые, чуть не плакали дети, а Сашка Дягилев ревел.

Однажды, искупавшись, ребятишки грелись под обрывом на мягкой и горячей осыпи глины. Дремал рядом и Монах. И вдруг прямо под нос Яшке Обручеву скатилась сверху большая темно-серая гадюка. Перепуганные ребята брызнули прочь. Кувырком покатился в речку и Яшка.

Все пришли в себя только тогда, когда Монах яростно замотал мордой, зажав в пасти змею. Он деснами растрепал змею, как соломенный жгут, но она успела укусить его...

— Н-да!— лейтенант потер лоб.—«Что же делать с жалобой соседей Наседкина?..»

—...Собака меня спасла. От смерти...

— Собака?— переспросил лейтенант, вырываясь из своих воспоминаний и подаваясь к Наседкину.

— Да, собака,— спокойно и твердо ответил инвалид.

— Эта?— Обручев кивнул в сторону балкона, не спуская глаз с собеседника и все еще думая о Монахе.

— Нет, другая. Но такой же породы — овчарка,— словно догадываясь, что его все равно будут расспрашивать, Наседкин продолжал:— Это было давно, в войну, на Карельском перешейке. Мы наступали. Из замаскированного дота врага ударил пулемет. Совсем неожиданно. Рота залегла, закопалась, а я остался на снегу — правый бок мне прошило очередью сверху донизу. Упал я и лежу ни жив ни мертв — в голове какой-то туман, и пошевелиться не могу от боли. Но соображаю: ранен, и если меня скоро не подберут — конец. Потому — мороз градусов сорок и поземка метет. Чуете, как было?

— М-м-да, представляю,— сбивчиво и поспешно ответил Обручев, стараясь представить себя раненым, лежащим на снегу в сорокаградусный мороз. Но он не знал войны, был молод и здоров. И никогда не мерз так, чтобы понимать силу мороза. Краснея, поправился:— Не совсем, конечно, однако представляю.

Наседкин улыбнулся снисходительно, как улыбается взрослый ребенку, который хотел ответить «по-взрослому». И улыбка эта завладела его лицом, и рассказ уже был просто рассказом, а не воспоминанием о тяжело пережитом.

— Так вот, лейтенант, начал я замерзать, и поземка заметает меня снегом, как бревно. Пробовал кричать, но вместо этого хрипел, будто старая ворона. Тут еще ночь пришла. И сон, тот самый, после которого не просыпаются. Обессилел я вконец, легко простился с жизнью и уснул,

Уснул, но все-таки чую: кто-то теплым гладит меня по лицу. Разодрал я глаза — собака. Жалобно визжит и лижет меня. Гляжу я в эти по-человечьи умиые собачьи глаза и ничего ие понимаю. Собака проползла иемного вперед, и я увидел близко от себя волокушу — легкую лодочку из фаиеры. Кое-как собрал последние силеики и перевалился иа волокушу. Собака повезла меня.

Вот так я и жив остался. Может быть, рука и иога двигались бы, но я обморозился. И теперь полбока — мои и ие мои. А без собаки мне иельзя: один я, а друг ведь каждому иужеи.

Лейтенант хотел было спросить, почему одии, ио вовремя остановил себя, сообразив, что перед ним сидел человек, от которого могли отказаться, как от обузы, или обузой этой он сам ие захотел быть — в жизии ие так все просто, как думается порой неискушеииому.

Обручев тихо встал и тихо сказал, вертя в руках плаишетку с бумагой:

— Кажется, в Леииинграде есть памятиик собаке. Заслужила. А жалоб оиа, коиечио, писать ие умеет,— и распрощался с «чудаком», уиося в душе щемящий груз виии перед ним.

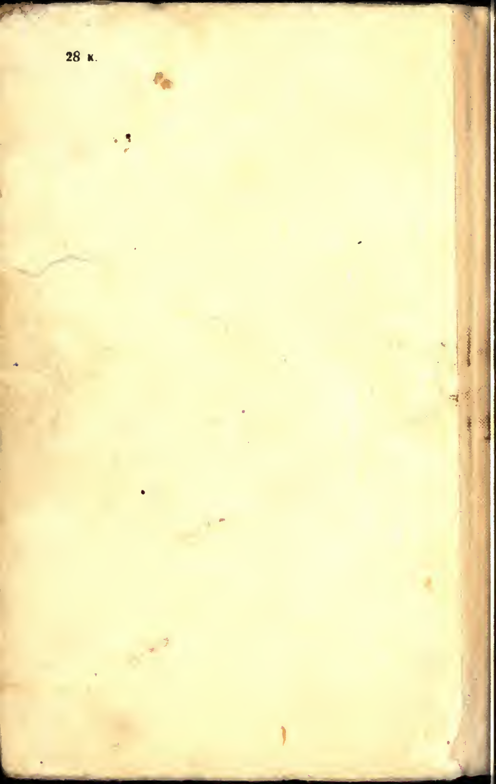
Содержание

Последний допрос 3
Пески, пески... 41
За колонной пленных 49
Разведка боем 80
Всегда живая 96
Чудак 101

Антонов Василий Васильевич
ПОСЛЕДНИЙ ДОПРОС. (Повести и рассказы).
Алма-Ата, «Жазушы», 1968.
108 с.

Редактор Попова З. В.
Художник Гилев Г. С.
Художественный редактор Рахманов А.
Технический редактор Прокаева М. П.
Корректор Кац М. И.

Сдано в производстао 23/VIII-67 г.
Издат. № 224. Подписано к печ. 6/XII-67 г.
Бум. тип. № 2, 84×108 1/32 = 3,375 п. л.—5,67
усл. п. л. (уч.-изд. 6,1 л.).
УГ00680. Тираж 100 000 экз. Цена 28 коп.
Типография № 2 Главполиграфпрома
Госкомитета Совета Министров Каз.ССР
по печати, г. Алма-Ата.
ул. К. Маркса, 63. Заказ № 687.



28 к.